

С. М.
СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ
1703—
начало 20-х годов
XVIII века

История России с древнейших времен

Сергей Соловьев

**История России с древнейших
времен. Книга VIII. 1703 –
начало 20-х годов XVIII века**

«Public Domain»

Соловьев С. М.

История России с древнейших времен. Книга VIII. 1703 – начало 20-х годов XVIII века / С. М. Соловьев — «Public Domain»,
— (История России с древнейших времен)

Восьмая книга С.М.Соловьева включает пятнадцатый и шестнадцатый тома «Истории России с древнейших времен». Оба тома посвящены царствованию Петра I.

Содержание

Пятнадцатый том	5
Глава первая	5
Глава вторая	43
Глава третья	81
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Сергей Михайлович Соловьев

«История России с древнейших времен»

Книга VIII. 1703 – начало 20-х годов XVIII века

Пятнадцатый том

Глава первая

Царствование Петра I Алексеевича

Строение судов для Балтийского моря. – Борьба с шведами за Петербург. – Отобразение у шведов старых русских городов. – Опустошение Эстонии. – Взятие Дерпта и Нарвы. – Шведы отражены от Петербурга. – Сношения с Польшею. – Паткуль в русской службе; его деятельность. – Русские вспомогательные войска под начальством Паткуля. – Отношения Паткуля к малороссийским козакам. – Окончание деятельности Палея. – Сношения с венским двором. – Паткуль в Вене. – Деятельность Матвеева в Голландии. – Постников в Париже. – Французский посланник Балюз в России. – Матвеев в Париже. – Сношения с Турциею. – Деятельность Петра Толстого в Константинополе.

В невских устьях спешили строить городок – морское пристанище для иностранных судов, но строитель не хотел, чтоб этот новый городок, его тезка, похож был на старый Архангельск, где виднелись только иностранные корабли: на берегах Свири кипела сильная работа, в нетронутых до сих пор лесах *ронили* громадные деревья и на новой верфи, в Лодейном Поле, строили морские военные суда. Но враги не отдадут без боя Балтийского моря. На невских устьях строят русский городок, а подле них все лето 1703 года стоят 9 шведских кораблей, и нечем отразить их: русские корабли еще только строятся на Свири. Другое дело на сухом пути: здесь можно померяться с шведом, который покинут своим королем и может выставить для борьбы только небольшие отряды. К реке Сестре подошел шведский генерал Кронгиорт; сам Петр в начале июля пошел на него с четырьмя конными полками: «Бой начат и счастливо совершен, неприятель прогнан, и зело много его порубили, понеже солдаты брать живьем его не хотели». С берегов Сестры Петр отправился в Лодейное Поле спускать суда. А между тем наступила осень. Меншиков с русскими людьми впервые познакомился тут с петербургским октябрем: солнца давно уже нет, страшный ветер и дождь целый день. Тяжко стало Меншикову; он зовет Петра, пишет ему с обычными шутками: «Но ведаем, для чего так замешкались; разве за тем медление чинится, что ренского у вас, ведаем, есть бочек с десять и больше, и потому мним, что, бочки испраздня, хотели сюда приехать, или которые из них разохлись, замачиваете и размачиваете. О сем сожалеем, что нас при том не случилось». Но после шуток Меншиков сообщает важное известие: шведские корабли, за осенним временем, отошли от невского устья.

Петр в Петербурге. На Неве уже плавают лед, но царь в море, около Котлина-острова меряет морскую глубину: здесь будут укрепления, оборона Петербургу. В ноябре явился в устье Невы первый иностранный купеческий корабль с солью и вином; губернатор Меншиков угостил шкипера и подарил ему 500 золотых, каждому матросу дано по 30 талеров.

В то время когда Петр пробрался к невавскому устью и начал строить здесь новый городок, войска его забирали старые русские города, которые швед завел за себя. В конце мая Шереметев начал обстреливать Копорье, и крепость сдалась. «Музыка твоя, – писал Шереметев царю, – хорошо играет: шведы горазды танцевать и фортеции отдавать, а если бы не бомбы, бог знает, что бы делать!» Сдались и Ямы, или Ямбург, и царь велел укрепить его. «Итак, при помощи божией, Ингрия в руках. Дай боже доброе окончание!» – писал Петр Шереметев, доканчивая в июле укрепления Ямбурга, писал уже о зимованье в Ингрии, но Петр отвечал ему: «Когда город совершится, лучше, чтоб вам некакой подход отправить, и, о том разведав, изволь писать, сыскав, например, способа два, три, а мы также на те способы дадим совет, который будет удобнее». Чтоб помочь Шереметеву сыскать способы, Петр отправил к нему в Ямбург Меншикова. Способ был сыскан, и в конце августа Шереметев переправился за Нарову, пошел гостить в Эстонии таким же образом, как гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние: козаки, татары, калмыки, башкирцы, и гостили по-прежнему. Шлиппенбах бежал без оглядки. 5 сентября Шереметев вошел беспрепятственно в Везенберг, знаменитый в древней русской истории Раковор, и кучи пепла остались на месте красивого города. Та же участь постигла Вейсенштейн, Феллин, Обер-Пален, Руин; довершено было и опустошение Ливонии. В конце сентября Борис Петрович возвратился домой из гостей: скота и лошадей, по его объявлению, было взято вдвое против прошлого года, но чухон меньше, потому что вести было трудно.

У Финского залива в новорожденной столице строили укрепления, поджидая шведа; в старой Москве строили триумфальные ворота, в которые должен был въехать царь после покорения Ингрии. Петр не зажился в Москве: взоры его были постоянно обращены и на запад, и на восток; пробыв лето близ берегов Балтийского моря, зимою он поехал в Воронеж, но, занимаясь здесь Азовским флотом, который должен был сдерживать турок, царь не забывал невакского устья, и Меншиков, остававшийся зимовать в Петербурге как губернатор, получил от него собственноручную модель крепости, которую должно было соорудить на море для безопасности нового городка.

Наступила весна 1704 года. Петр был в Петербурге; надобно было защищать этот дорогой городок, но Петр не хотел ограничиться одною оборонительною войною. Куда же наступать? В Ливонии и Эстонии опустошать было нечего более, но были там две сильные крепости, утверждение в которых было делом первой важности для России на случай, когда Карл XII обратит против нее свои главные силы: то были Дерпт и Нарва. Надобно было спешить их покорением, пока «швед увяз в Польше», по выражению Петра. 30 апреля Шереметев получил приказание от царя двинуться для осады Дерпта. 5 мая Шереметев дал знать, что генерал фон Верден взял на реке Эмбахе 13 шведских судов, плывших в Чудское озеро. Петр «с превеликою радостью принял известие о пресчастливой победе в нечаянном случае» и подтвердил Шереметеву приказание «идти и осадить конечно Дерпт, чтоб сего богом данного случая не пропустить, который после найти будет нельзя». У Шереметева сборы шли медленно; Петр торопил: «Немедленно извольте осаждать Дерпт, и зачем мешкаете, не знаю. Еще повторяя, пишу, не извольте медлить». Шереметев оправдывался в своей медленности тем, что стал здоров не по-старому, что один, ни от кого помощи не имеет: «Легко мне было жить при тебе да при Данилыче (Меншикове): ничего я за милостию вашею не знал»

В начале июня Шереметев подошел к Дерпту и начал осадные работы. Осада затянулась. Для ускорения дела 2 июля явился под Дерпт сам царь и на третий день писал Меншикову: «Здесь обрели мы людей в добром порядке, но кроме дела, ибо две апроши с батареями принуждены бросить за их неудобством, третью переделать, и, просто сказать, кроме заречной

батареи и Балковых шанец (которые недавно пред приездом нашим зачаты), все негодно, и туне людей мучили. Когда я спрашивал их: для чего так? то друг на друга (т.е. вину складывали), а больше на первого (т.е. Шереметева), который столько же знает. Инженер человек добрый, но zelo смиренный, для того ему здесь мало места. Здешние господа zelo себя берегут, уже кажется и над меру, но я принужден сию их Сатурнову дальность в Меркуриусов круг подвинуть. Zelo жаль, что уже 2000 бомбов выметано беспутно. Брешь, чаю, зачнем кончае по четырех днях, zelo в изрядном месте, где мур только указу дожидается, куда упасть, а с прочих мест zelo укреплен. Боже! помози немедленно окончить. Однако ж, как сам можешь знать, надлежит от 10 до 7 дней оному продолжену быть. Здесь ничто мне (не) в пользу, токмо что люди, которые, слава господа богу, zelo бодры и учреждены, и число их вяще 20000».

После упорной битвы, происходившей у палисада всю ночь на 13 июля, когда русские уже готовы были ворваться в город, комендант затрубил к сдаче. «Итак, с божиею помощью, сим нечаемым случаем, сей славный отечественный град паки получен», – писал Петр к своим.

В то время как Шереметев осаждал Дерпт, другое русское войско стояло у Нарвы под начальством фельдмаршала Огильви, приговоренного в русскую службу Паткулем в Вене на три года. По взятии Дерпта царь отправился под Нарву. 9 августа был назначен штурм. Несмотря на упорное сопротивление шведского гарнизона, русские ворвались в город и произвели в нем страшную резню без пощады женщинам и детям. Через два часа после штурма въехал в Нарву сам Петр с Огильви и велел прекратить грабеж, причем, говорят, заколол шпагою одного солдата, не хотевшего слушаться приказания, и потом, показывая свою окровавленную шпагу нарвским жителям, говорил: «Не бойтесь! Это не шведская, а русская кровь». По обычаю, пошли письма от царя к своим о взятии Нарвы: «Где перед четырьмя леты господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость чрез лестницы шпагою в три четверти часа получили». 16 августа сдался Иван-город.

В то самое время, как Петр шпагою брал старые отечественные грады, новый его городок Петербург должен был отбиваться от шведов. 12 июня 1704 года на Выборгской стороне явилось шведское войско под начальством генерала Майделя и начало стрелять в Петропавловскую крепость; комендант ее Роман Брюс отстреливался удачно, и Майдель счел за лучшее отступить. С другой стороны, так же неудачно окончилось покушение шведского флота овладеть Кроншлотом.

Счастливым 1704 год был дожит царем в Москве. В старой столице праздновали взятие старых отечественных городов. В семь триумфальных ворот входили победители с знатнейшими пленниками и пушками, отбитыми у неприятеля. В феврале 1705 года Петр уехал в Воронеж к кораблям, а между тем уже делалось приготовление к новому походу на западе. Куда же будет этот поход? До сих пор Петр пользовался временем, пока «швед увяз в Польше», овладел Ингриею, основал корабельное пристанище в устьях Невы, взял Дерпт и Нарву, опустошил вконец Ливонию и Эстонию. Цель войны была достигнута, больше ничего не хотелось получить от шведа. Захочет швед мириться, больше ничего от него не потребует, в крайности можно будет отдать ему и Дерпт и Нарву, удержав только драгоценный Петербург; не захочет швед уступить ничего, захочет все отвоевать, трудна будет ему война в опустошенной стране, пусть стоит под крепостями; в четыре года Петр достиг того, что люди его были бодры и учреждены, с такими людьми была надежда отбиться от шведа. Но всего важнее было, чтоб швед как можно долее увяз в Польше; для этого нужно было помочь полякам.

В начале XVIII века, как и прежде, главное внимание русского правительства в сношениях его с Польшею было обращено на положение русского православного народонаселения в польских владениях. 8 марта 1700 года русский резидент в Польше стольник Судейкин получил царскую грамоту: «В девятой статье мирного договора сказано, что людям благочестивой греко-русской веры в Короне Польской и Вел. княж. Литовском никакого утеснения к вере римской и к унии принуждения быть не должно: а ныне к нам, великому государю, донесено,

что православных людей в Литве бискупы и езуиты и доминиканы и прежние униаты и шляхта разоряют, в унию насильно приводят и бьют, монастыри и церкви отнимают, а именно, недавно в Пинском повете монастырь Цеперский, принадлежащий виленскому братству св. духа, отнял насильно и в унию отдал князь несвижский Радзивил, канцлер Вел. княж. Литовского, и приобщил ко владениям митрополита униатского Зеленского; а в воеводстве Минском новоумышленною злобою те же гонители умерших православных христиан по древнему обыкновению хоронить не дают, и такого злобного и мирному договору противного гонения на православных, как ныне в стороне королевского величества чинится, никогда не бывало, что нам, великому государю, удивительно и болезненно показалось слышать. И ты бы королевскому величеству, сенаторам, канцлерам и иных чинов ближним людям говорил, чтоб королевское величество, по должности договоров вечного мира, приказал монастырь Цеперский возвратить по-прежнему православному виленскому братству сошествия св. духа, и православных христиан в унию не обращать, и умерших хоронить по древнему обыкновению, и впредь на такое неистовство держать приказал жестокими указами. А если сенаторы станут тебя спрашивать, кто именно нам жаловался, то отвечай, что имен этих людей объявить невозможно, чтоб им за то и пушного разорения не учинилось».

Сенаторы пропели резиденту старую песню, что у них насильно в католическую веру никогда никого не обращают, а если кто добровольно обратится, принимают. «Какое же это добровольное обращение, когда обращенные жалуются царскому величеству на насилия?» – возразил резидент. Сенаторы отвечали, что ничего не знают о поступке Радзивила, однако указ королевский о том к нему пошлют.

12 мая, в воскресенье, у резидента на дворе были в церкви у обедни люди благочестивой веры – Бельского монастыря игумен Сильвестр Тройцевич с дьяконом и церковным причетником да львовцы, три человека; после обедни пришли они в светлицу к резиденту и говорили, что им и прочим благочестивым греко-российской веры людям от бискупов, езуитов, доминиканов и униатов гонения и всякое утеснение великое, грозят непрестанно, и ныне последнюю Львовскую епископию нудят в унию, и львовский епископ Иосиф Шумлянский приехал теперь в Варшаву для того, чтоб к униии приступить и шляхту, и мещан, и русских в то же соединение привести: однако они, сколько их мочи будет, никогда добровольно в униии быть не желают. Несмотря на договоры вечного мира, гонят здесь благочестие без всякого опасения, мирским благочестивой веры людям всякое ненавидение творят, церквей не только вновь строить и древних починивать заказано. Резидент говорил им, чтоб они все это дали на письме, а он донесет великому государю чрез почту, но они отвечали, что на письме дать невозможно, потому что сильно боятся католиков. Тогда резидент приказал одному христианину написать ту их *лєряцью* тайно и обнадежил их, что имена их и прозвища никогда не откроются.

23 мая приехали к резиденту архимандрит Дионисий Жебокрицкий, номинат (назначенный) епископии Луцкой, игумены Почаевского монастыря – Иосиф Исаев, Бельского – Сильвестр Тройцевич и объявили, что Шумлянский в унию приступили теперь благочестивым людям горшее прежнего чинится гонение и к униии принуждение, а за них, кроме благочестивейшего монарха царского величества, стоять иным некому, и во всем имеют они надежду на милостивое охранение, заступление и праведное призрение царского величества. Резидент обнадеживал их и в удостоверение, как царь заботится о православии, показал грамоту к королю по поводу Цеперского монастыря. Вследствие отъезда королевского из Варшавы выехал оттуда за ним и резидент. Только что приехал он в Вильну 11 июля, пришли к нему игумен Духова монастыря Исакий с братиею и мирские люди благочестивой веры и говорили с великим плачем, что им здесь чинится от иезуитов великое гонение, иные и теперь сидят в тюрьме на цепях для принуждения к униии. Православные просили резидента, чтоб он постарался как-нибудь освободить заключенных. Судейкин на другой же день, будучи с визитом у гетмана литовского Сапеги, просил его освободить православных, которых униаты держат на

цепях, и не поступать вопреки мирным договорам. Сапега сейчас же при резиденте отправил двоих иезуитов к униатам, чтоб освободили заключенных. Под Ригою мальборский хорунжий говорил Судейкину: «Получил я письмо из Львова от ваших греко-российской веры людей: пишут с плачем, что Шумлянский во Львове и во всей своей епархии многие церкви обратил, также и самих их принуждает к униии, и для устрашения коронный гетман Яблоновский дал ему отряд вооруженных людей. Но в привилегии королевской, данной Шумлянскому, не написано, чтоб неволить в униию и церкви обращать, и гетману Яблоновскому помогать ему в этом без воли Речи Посполитой не годилось. Донесите об этом королю, и я по королевскому указу к гетману и к Шумлянскому отпишу, чтоб они так не делали». Судейкин, донося об этом царю, прибавляет: «По-видимому, все похлебствуют, а истины отнюдь нет, и желают конечно, чтоб у них в Польше и Литве наше благочестие иссякло». По требованию резидента король послал к гетману и Шумлянскому листы с подкреплением, чтоб не неволили никого в униию.

Королевские листы ненадолго доставили спокойствие галицким православным. В феврале 1701 года к резиденту в Варшаве начали приходиться львовские братчики с великим плачем, что Шумлянский соборную и другие церкви гвалтом отобрал и принуждает их насильно в униию. Резидент выхлопотал им у Августа новый лист, за королевскою рукою, но канцлер великий коронный, бискуп премышльский, номинат бискупства Краковского не захотел запечатать листа коронною печатью. «Не могу приложить печать, – говорил он резиденту, – потому что я номинат бискупства Краковского и со дня на день ожидаю благословения от папы и если запечатаю этот лист, а Шумлянский даст знать папе, то папа не пришлет мне благословения».

Палей писал Мазепе в марте 1701 года: в неделю Мытаря и Фарисея во Львове служил обедню Шумлянский в соборном римском костеле, а в неделю Блудного сына служил обедню в церкви градской ксенз арцыбискуп с певчими без органов; проповедь сказывал священник благовещенский после евангелия на русском языке, а другую иезуит Голимовский после обедни на польском языке. Принудили всех мастеров русских крест целовать и подписываться на униию; русским благочестивым попам насильства другого не делают, только Климента, папу римского, на эктениях поминать велят.

Положение, в котором находилось русское правительство в начале 1701 года, не позволяло ему делать сильных представлений польскому правительству. В Биржах не было речи о притеснениях, которые терпят православные. В это время Судейкин был отозван с резидентства, и посланником в Польшу отправился в феврале 1701 года стольник Василий Постников, но в апреле поехал в Варшаву для нужнейших дел инкогнито ближний стольник и генерал-адъютант князь Григорий Долгорукий: Постникову приказано «быть послушным Долгорукому и в настоящем тамошнем поведении согласным и приводить государевы дела ко всякой прибыли, тайно и явно с осторожностью и прилежным радением, писать о делах к великому государю вместе и особо каждую неделю». Но Долгорукий скоро написал Головину: «Постников мне чинится ни мало не послушен, и говорить мне ему ни о чем невозможно, а я чаю, что станет меня скоро лаять; не извольте гневаться, я ему говорить ни о чем не буду». Постников был отозван. Долгорукий остался один на своем трудном посту. Главная забота русского посла состояла в том, чтобы швед как можно глубже завяз в Польше и забыл о России, а между тем Долгорукий видел, что король Август тайком старается заключить мир с Карлом XII.

У Долгорукого, впрочем, были сильные союзники: во-первых, сам Карл XII, не хотевший мириться с Августом, стремившийся во что бы то ни стало свергнуть его с престола, во-вторых, страшное беззастенчивое господствовавшее в Литве и Польше. В Литве шла ожесточенная борьба между двумя могущественными вельможами – Огинским и Сапегою. Сапега, и прежде нерасположенный к королю Августу, а теперь побежденный Огинским, обратился к шведскому королю с просьбою о помощи. В Польше также явилась партия недовольных королем Августом; в челе ее стоял архиепископ гнезенский, кардинал-примас королевства Михаил Радзеевский, красивый, знатного происхождения, богатый, ученый, красноречивый прелат, но при этом не

имевший ни чести, ни совести. Он одобрял нападение Августа на Ливонию, служил благодарственный молебен за взятие Динамюнде, но, когда Август потерпел неудачи, Радзеевский вместе с другими панями переменил свой взгляд и начал толковать, что король своевольно, без согласия республики начал войну и потому поляки не должны в нее мешаться. В этом смысле завел он переписку с Карлом XII. Шведский король отвечал ему, что единственное средство для поляков избежать войны – это свергнуть с престола Августа. Паны толковали, что Польша не должна вмешиваться в войну, начатую ее королем, а между тем Карл XII, не обращая никакого внимания на это различие между королем и королевством, расположился с своим войском в Курляндии, бывшей польским леном, и шведы вторглись в Литву для подания помощи Сапеге.

Карл знал, что может распоряжаться в польских владениях как ему угодно – сопротивление не будет. В октябре 1701 года Долгорукий писал: «Как у его королевского величества, также и в скарбу Речи Посполитой великую скудость в деньгах имеют: однако ж у его королевского величества польским дамам, своим метрессам и на опары (оперы) и комедии довольные расходы деньгам, за что и ныне подстолиной Любомирской дано 20 тысяч, на опары опаристам 30000 ефимков, а всех належит выдать одним опаристам на зиму 100000 ефимков; многие офицеры и солдаты за многие годы заплаты не имеют и за своими тяжкими долгами в иные государства выехать не могут. Воистину с великим трудом ныне отправляются дела его царского величества, потому что министр, которому вручены (Бейхлинг), держит факцию неприятельскую и никакого добра к стороне царского величества не желает, ни на кумплементе себя приятно показать не хочет и ныне которых я призвал инженеров и офицеров явно от службы его царского величества отбивает, а хотя из Варшавы выслан шведский посол, однако и ныне много есть резидентов шведских, которые служат при дворе королевском, также есть и в генералах». В декабре те же жалобы: «Дай боже, чтоб шведы с поляками союзу не учинили, потому что кардинал (Радзеевский) и другие сильные персоны за шведские деньги факцию и ныне держат; также и в самой высокой персоне крепости немного».

В высокой персоне крепости было действительно немного; высокая персона больше всего желала заключения мира с шведами, но Карл XII не хотел мириться. В мае 1702 года польские послы при Карле дали знать в Варшаву, что шведский король обещает дать им аудиенцию в Гродне, а резолюцию на их посольство хочет дать под Варшавою в Праге. Сенаторы испугались и начали пожитки свои отсылать за границу; король также собрался выехать из Варшавы в Краков, велел следовать за собою и Долгорукому, который писал Головину: «Вельми опасаются, что многие сенаторы к покою гораздо склонны, чтоб неприятель каким-нибудь лукавством не учинил нам противного союза. А королевское величество великую скудость имеет в деньгах; на непотребные расходы имеет довольство, а на самое дело мало что имеет; зело его королевскому величеству деньги потребны для склонения к себе Речи Посполитой и на заплату войску».

Карл XII беспрепятственно вступил в Варшаву 11 мая с конным отрядом в 500 человек, а перед ним пришли сапегинцы, перемешанные со шведами. «И ныне, – доносил Долгорукий, – берут в Варшаве деньги и провиант, а польские послы до сих пор не могли добиться конференции у шведского короля. Несмотря на то, иные поляки от нерассуждения своего желают покою; бог знает какие безрассудные люди! Не хотят смотреть на пользу своего государства, каждый смотрит собственной прибылью, и если которого неприятель не возьмет за лоб, то без великой неволи боронить не только свое государство, но и себя не хотят. Истинно, хотя с ними союз учинен будет, а продолжение войны их быть не чаю. Хотя от великого неприятельского принуждения войну начнут, но ежели от наступления неприятеля за помощь его царского величества могут освободиться, то, чаю, скоро войну свою пресекут. Также и высокая персона без охоты, за великим неприятельским принуждением войну начнет, а чтоб продолжительно вести, того не чаю, понеже его величество из той войны впредь себе не чает прибыли. Зело надлежит нам помогать как возможно ныне полякам, не мешкая, дабы неприятель не прину-

дил их на нас с собою, понеже посол французский имеет при себе многие деньги, в Варшаве королю шведскому вельми помогает и наклоняет к нему поляков, от чего боже упаси!»

В июле Карл поразил войска Августа под Клишовом, где с шведской стороны был убит зять короля, герцог Фридрих Голштейн-Готторпский. После этой победы шведы заняли Краков. Долгорукий доносил: «Бог знает, как может стоять Польская республика: вся от неприятеля и от междоусобной войны разорена вконец, и, кроме факций себе на зло, иного делать ничего на пользу не хотят. Только б как ни есть их удерживать от стороны неприятельской, а нам вспоможения от них я никакого не чаю для такого им от неприятеля разорения: не токмо все государство разорил, из костелов в Кракове мощи выметал, раки и ковчеги серебряные все побрал, гробы разорил, в замке дом королевский выжег и не токмо купецких и градских людей, но и законников из кляшторов тяжкими поборами выгнал, и больше того полякам разорения и ругания делать невозможно. Однако ни на что не глядят, все сенаторы ищут собственной прибыли. Какое вспоможение себе имеют всегда от его царского величества, прежде сего в турецкой войне, и ныне, однако все то ни за что вменияют, а не так озлоблены на неприятеля, как давнюю злобу имеют к нашему народу, только делать явно за скудостью и несогласием не смеют. Хотят они на коней сесть, только еще у них стремен нет, не по чему взлезть. Как bestия без разуму ходят, не знают, что над ними будет. Против неприятеля контры чинить не смогут и короля отступить не хотят, только с обеих сторон имеют от войск великое разорение, от шведов и от саксонцев. Извольте войском промысл чинить в Лифлянтах, как вас бог наставит, а себя больше иметь в надеянии божии. Истинно, как на поляков, так и на саксонские войска гораздо надеяться невозможно: в обоих народах великий непорядок и скудость; не токмо в поляках и в саксонских войсках многие офицеры исполнены шведскою факциею и не так верны королевскому величеству, как себе имеют шведского короля за патрона; также и солдаты против неприятеля сердца потеряли, за что его королевское величество баталию дать с неприятелем не хочет, всегда будет убежать как возможно».

К великому неполадку в обоих народах присоединилось козацкое восстание на Украине. Коронный гетман Яблоновский поставил над козаками польской Украины наказным гетманом Самуся, который жил в Виннице. Потом, когда заключен был с турками мир, то польское правительство запретило Самусю называться не только гетманом, но и полковником, велено было распустить всех козаков, которым указаны для жительства разные места, а самому Самусю велено жить в Богуславле, где он сделан *осадником* с правом начальствовать над всеми людьми, которых он перезовет на поселение, *осадит*. Но когда Самусь *осадил* значительное число людей в Богуславле, то обозный коронный Яблоновский, сын покойного гетмана, прислал от себя туда на староство поляка и жидов для сбора таможенных и других пошлин, а у Самуся приказал отобрать войсковые клейноты – булаву, бунчук, печать и пять пушек. Самусь перебил присланных старосту-поляка и жидов, после чего пошел с своими людьми в Корсунь, убил тамошнего губернатора, всех польских драгун и жидов, сделал то же самое в Лысянке и, намереваясь идти под Белую Церковь, написал 24 июля следующее письмо наказному полковнику переяславскому: «Благодарим всемилостивого бога, что наши враги не утешились: они не только на самого меня, старца, наветовали, но и весь народ христианский приговаривали под меч и на все Заднепрье хвалились. Знаю, что оскорбится на меня господин гетман, что без указу его я это сделал, однако я по своей обиде принужден разбраться с ляхами, и не только из Корсуни, но и изо всех городов украинских их выгнал, и сами мещане неверных жидов выбили, послыша от них отягчения, склоняясь под высоковладетельную державу царского величества и будучи готовы за веру христианскую умереть».

Извещая Головина об этих событиях, Мазепа заметил: «Сдается мне, что эта война нам не очень противна, потому что господа поляки, увидавши из поступка Самуся, что народ наш малороссийский не может под их игом жить, перестанут о Киеве и об Украине напоминать. Рассуждаю и то: не знаю, смел ли бы Самусь приняться за такое дело один, потому что человек

он простой, писать не умеет; не подучен ли он королем встать против Яблоновских как неприятелей королевских? Если Самусь обратится ко мне за помощью, что мне делать?»

Мазепа кроме короля искал еще человека, который подучил Самуся. Мазепа послал к Палею с запросом: «Скажи по совести христианской правду: за твоим ли советом и ведомом Самусь на той стороне начал бунты против поляков?» Палей отвечал под присягою, что Самусь начал дело не по его совету, но за его ведомом, потому что не раз писал к нему с жалобами на утеснения от поляков и жидов. Мазепа дал знать в Москву, что, по его мнению, Палей тут советник: и пасынок его находился в Корсуне, когда там начали бить поляков и жидов, и сват его Искра, полковник богуславский, был помощником Самуся во всем.

Огонь, зажженный Самусем, разгорался все более и более, по выражению Мазепы: во всей стране, от низовьев Буга и Днепра по реку Случь, по городкам и селам старосты и жида были побиты, другие от страха побежали в глубь Польши, крича, что наступила на них другая Хмельницина. Палей отправил под Белую Церковь на помощь Самусю полторы тысячи своего войска. Мазепа не помогал явно, не брал Самуся под свое регименторство, но посылал ему порох и свинец, «чтоб его вовсе от себя не отогнать». От Белой Церкви Самусь принужден был отступить, но за то взял Немиров и не оставил в них ни одного поляка и жида. Соединясь с Палеем, Самусь 16 октября поразил и поляков под Бердичевом, взяли замок и всех поляков вырубил, после чего возвратились под Белую Церковь и взяли ее в начале ноября.

13 ноября Долгорукий писал к Головину: «Был я в доме у канцлера корунного, который сказывал, что с Украины приходят к ним бесполезные ведомости: козаки великие бунты завели, город Немиров и другие места взяли, шляхту бьют мучительски: и руки секут, и носы режут, у духовных бороды с кожею обдирают и из них бунчуки себе делают, и будто больше 4000 побили всякого чина, почему они, поляки, принуждены нанять крымских татар 25000 себе в помощь. На то ему, канцлеру, от меня отповедано, что такое им разорение делается факциями и злохитрым неприятельским происканием, а его царское величество для дружбы королевского величества, и к тому жалея о том разорении Речи Посполитой, изволил довольный указ дать своему гетману Мазепе, дабы козаки его царского величества к тем бунтам не приставали и всеми мерами от того дурна были удержаны, и по указу его монаршему гетман Мазепа по пограничным местам войска свои расставил и пропускать козаков не велел, и чтоб Речь Посполитая со стороны его царского величества ничего не опасалась».

Действительно, 28 декабря 1702 года от царского имени посланы были к Самусю и Палею грамоты: «О том вам ведомо подлинно, что с нами, великим государем, брат наш, его королевское величество польский, дружбу и любовь имеют. А тебе, конному охотничьему полковнику Семену Палею, и конному охотничьему полковнику Самусю Иванову, если бы и досаждение какое со стороны королевской от кого было, и о том довелось бить челом его королевскому величеству. И мы, великий государь, имея к вам нашу милость, повелели послать сию грамоту, дабы могли вы иметь общее согласие и от начатого своего противного намерения престоли б, а иметь воинские промыслы всякими мерами над общими неприятелями нашими, шведами».

Но борьбу русских с поляками трудно было прекратить. Палей писал Мазепе: «Присылаешь к нам монаршеские указы и свои предложения, чтоб мы с поляками войну совершенно отставили и к миру с ними пришли, а они, поляки, такие нам неприятели, что не только старых людей и жен, но и малых детей не пощадили, всех в пень вырубил».

1703 год Долгорукий начал обычными жалобами на польское безнарядье и на козацкие бунты: «По сие время, слава богу, явно при неприятеле ни одного воеводства коронного и литовского еще не обретаются; однако совершенно надеяться на поляков невозможно: многие, которые от короля милость и великие уряды приняли, против него факции непрестанно делают; зело народ дивный, никакого добра сыскать в них невозможно, только всякого зла и бездушества исполнены, от чего пропадают и чаю, до конца скоро погинут; однако, как возможно, буду от стороны неприятельской удерживать. С Руси пишут, что бунты козацкие еще не

перестали; для бога, извольте приложить труды к успокоению тех непотребных бунтов, которые поляков против неприятеля гораздо удерживают; паче всего можете тем усмирением склонить к союзу Речь Посполитую».

В феврале Долгорукому было объявлено от имени королевского, что перехвачены письма Паткуля, из которых обнаруживаются сношения его с кардиналом Радзеевским: Паткуль просил кардинала исходатайствовать ему прощение у Карла XII, и кардинал отвечал, что Карл все прощает. Долгорукий отвечал, что донесет об этом своему государю, только пусть король, по дружбе к царскому величеству и для явного обличения, отошлет перехваченные письма к царю, который примет их с благодарностию и оплатит услугою за услугу. На это отвечали, что письма будут доставлены, но прежде надобно Паткуля спросить, писал ли он их, и если запрется, то уличить письмами. Долгорукий замечает при этом: «Всему веры дать невозможно, больше, чаю, многое говорено от великой злобы».

Злоба эта происходила оттого, что Паткуль, видя положение дел короля Августа, видя, как тот домогается мира с Карлом, не считал более для себя полезным и безопасным оставаться на службе Августа и прямо объявил об этом Долгорукому в Варшаве. Тот донес царю и получил указ пригласить Паткуля в русскую службу. Весною 1702 года приехал Паткуль в Москву и принят в русскую службу в чине тайного советника. Понятно, что Петр мог сильно желать иметь в своей службе человека, знаменитого своими способностями, знаниями, энергиею, опытностию в делах европейских. Но Паткуль был ниже своей репутации и далеко не оправдал надежд, возложенных на него царем. Прежде всего Паткуль вступил в русскую службу на время, как наемник, для достижения своих частных целей, вовсе не думая усыновляться России, отдать всего себя служению ей. Он оставался вполне иностранцем для России, для русских, и потому его внушения и советы шли наперекор намерениям Петра. Петр смотрел на военную и дипломатическую деятельность как на школу для русских людей; ошибки, необходимые вначале, нисколько не смущали его; иностранцы были призываемы помогать делу учения, а не заменять русских, не отнимать у них возможности упражнения, т.е. учения, не вытеснять их из школы. Но Паткуль, оставаясь вполне иностранцем в отношении к России, разумеется, смотрел иначе: он внушал, что русские не приготовлены к дипломатическому поприщу, делают ошибки и потому нужно заменить их везде искусными иностранцами. Петр хотел выучить мало-помалу русские полки военному искусству, считая лучшею школою войну; Паткуль советовал пригласить не известное количество иностранных офицеров, но целые немецкие полки. Петр хотел образовать искусных генералов из своих, русских; Паткуль советовал набрать все иностранных генералов, знаменитых своим воинским искусством, и предоставить им полную свободу наполнять свои полки офицерами, т.е. иностранцами. Петр с первого же раза должен был понять Паткуля. Хотели воспользоваться его способностями за границу, пока его интересы были тесно связаны с русскими интересами, брали в службу людей, им предлагаемых; внимательно прислушивались к его советам, учтиво отвечали на них, но не исполняли. Паткуль, презиравший русских дипломатов, упрекавший их в непростительных ошибках, Паткуль сам не мог быть полезен России на дипломатическом поприще; у него недоставало широкого взгляда, которым бы он обнимал все интересы известной страны, ясно понимал ее положение и верно выводил возможность для нее к тому или другому действию. Оторванный от родной страны, и то не имевшей самостоятельности, блуждающая звезда на политическом горизонте, Паткуль не знал стран и народов, их истории и созданных ею интересов; он знал только отдельные лица, хотел иметь дело только с отдельными личными побуждениями, их заставлял играть, но эти мелкие средства одни не помогали. Паткуль считал, например, мастерским делом устроить так, чтоб иностранный министр был пойман на словах, но из этого, кроме раздражения, не выходило ничего. Если читать донесения Паткуля, то выходит, что он работает неутомимо и отлично, а результатов никаких. Прибавим к тому нестерпимый характер, неуменье себя сдер-

живать, жесткость, резкость, чрез меру высокое мнение о самом себе, низкое о других, и мы поймем, почему Паткуль не оправдал тех надежд, которые на него возлагались.

Паткуль из Москвы отправился в Вену склонять тамошний двор к союзу с Россиею. За делами в Польше по-прежнему внимательно и разумно следил Долгорукий.

Радзеевский и Сапега действовали подкупом, чтоб увлечь своих соотечественников в союз шведский против России; Долгорукий должен был вести контрмины также с помощью подарков; все знатные люди получали их от русского посла; некоторые обнаруживали неудовольствие, что мало присылается: «Нашей службы к царскому величеству много, больше других, мы не такой малости заслужили!» Для успокоения их Долгорукий должен был объявлять, что это прислано не от царя, а только от Головина, царь пришлет больше. В апреле Долгорукий имел конференцию с сенатом и послами всех трех провинций – Великопольской, Мало-польской и Литвы, уговаривал вступить в союз с Россиею против шведов, предлагал на войско 150000 рублей, сто тысяч займы, а пятьдесят без отдачи. Сенаторы и послы изъявили согласие, но требовали себе русской пехоты на помощь, просили также, чтоб царь помог им против козаков, заставил Палея отдать Белую Церковь. Долгорукий обещал, но тут распространяется слух, что султан хочет разорвать с царем и собирает войска на границе. «Насилу я мог у них из головы выбить, что то неправда, токмо неприятельские факции», – доносил Долгорукий. Уладил одно дело, явилась другая помеха: министры коронные и литовские объявили послу, что Паткуль, будучи проездом в Белой Церкви, дал знать коронному гетману, будто Палей без воли царской Белую Церковь Речи Посполитой не отдаст, а теперь тот же Паткуль к гетманам пишет, что Палей не отдаст Белой Церкви до тех пор, пока Польша с царским величеством не заключит союза. «Зело дивно, – писал Долгорукий Головину, – если, не зная здешнего состояния, то делал Паткуль, от чего здесь к союзу великий труд учинил, а неприятелям, которые ищут зла, к великой пользе. Для бога, извольте со стороны Белой Церкви некое действие доброе к полякам показать и ясно к Речи Посполитой отписать, что сие господин Паткуль делал без воли его царского величества». Сам король говорил Долгорукому, что сомнение немалое имеет в господине Паткуле, который дружбу и союз его короля с царским величеством разрушает околичными прилогами, что неудовольствия, объявленные царем на поведение его, короля, он считает делом Паткуля, следствием его личной злобы. «Я хорошо знаю Паткуля, – продолжал король, – и царское величество также узнает, что Паткуль для собственного своего умысла и пользы службу своего государя оставляет».

Палей не отдавал Белой Церкви. Весною 1703 года Мазепа известил Головина, что пьяный Палей проговорился в Киеве: «Господин гетман нам в нужное время помощи войском не давал; если и впредь давать не будет, то поддадимся полякам, и не знаю, каково тогда и на Заднепрью будет». Головин требовал от Мазепы, чтоб старался о возвращении полякам Белой Церкви, что было необходимо при тогдашнем союзе с Польшею против шведов. Мазепа отвечал вопросом: как это сделать? Как Палея и Самуся привести к покорению полякам? «Захотят ли они, – писал Мазепа, – положиться на мои голые слова, потому что от королевского величества и Речи Посполитой никакого обнадеживания нет; на чью ж бы душу тот грех пал, когда бы я всякими способами приватным моим обнадеживанием привел их к миру с поляками и отдал их с неволею, а они, поляки, захотели бы не только над ними, но и над народом, который теперь в их защите, так мучительно поступить, как по Днестру и по Бугу учинили: иных виселицею, иных бросанием на крюки, а иных взбиванием на кол казнили, мстя свои убытки и кроворазлитие. Для того изволь, вельможность ваша, прислать подлинную мне информацию. Палей и Самусь сидят смиренно; никакой с ляхами не чинят зацепки, проезд всяким людям свободен; только по вся дни примножается к ним гультайство, особенно из Запорожья; сотник Палеев, секретарь, будучи недавно с ним в Киеве, проговорился пред духовными особами, что „наш Палей заодно с атаманом кошевым смышляет и во всем его слушает, обо всем между собою тайно сносятся“.

В июне месяце собрался сейм в Люблине, на котором происходили явления, возможные только в Польше. На сейм явился кардинал примас Радзеевский и на другой же день стал просить приватной аудиенции у короля Августа, против которого явно действовал вместе с шведским королем. Послы поветовые, узнавши об этом, отправили к королю сеймового маршалка с представлением, чтоб не давал примасу приватной аудиенции, а дал бы в посольской избе пред всеми публично. Король исполнил их требование. На этой публичной аудиенции многие послы коронные и литовские говорили примасу, что он привел и по сие время держит в их государстве шведского короля с войском, который все их государство разорил, «и многие его, кардинала, неправды вычитали с великим бесчестием». Радзеевский хотел оправдываться, но ему не дали открыть рта до тех пор, пока он, ставши на колени подле короля, не присягнул пред св. крестом, что шведского короля не приводил и до сего времени не удерживал, вперед королю Августу и Речи Посполитой никакого зла делать не будет, всегда станет искать чести и пользы своему государству. Произнесши эту присягу, явный изменник засел в сенате как первое после короля лицо в государстве. Долгорукий писал Головину: «Извольте, времени не опуская, потребное свое дело управлять, а на здешнюю сторону на оба народа худая надежда; хотя с ними и в союз вступить, истинно никакого состояния доброго от них не будет, и если неприятель Торн добудет, то их конечная худоба: саксонского войска пропадет лучшая часть, а которые и останутся, и те в сущем убожестве; у поляков шведы проход ко Гданску удержат и хлеба не пропустят, от чего их все Польское государство состоит, и к такой неприятель их тесноте приведет, что они и богу солгут, не токмо нам. Известно вам, какое есть здесь постоянство. Лучше того не могу признать, что по се время задержан здесь неприятель. Хотя наше войско помощное будет, опасно, чтоб до какой худобы не дошло; лучше б сильнее помочь деньгами, токмо чтоб и те были употреблены по нашему намерению. Однако ж нам, сколько возможно, тружаться подле них надобно; нынешний год без всякого опасения извольте быть: чаю, конечно, неприятель зимовать здесь станет; хотя б с собою их быть и принудил (чего я больше не чаю), истинно как нам, так и ему того же часу солгать готовы. Не извольте того и мыслить, чтоб здешние оба народа для чести или прибыли государственной что стали с трудом делать, разве для какого ни есть покою. Если увижу, что наш союз станет отдаляться, то нам надобно ходить, чтоб король перепустил нам своего войска. Истинно не знаю, как этому войску пробыть нынешнюю зиму: поляки зимовых квартал у себя дать не хотят, готовых провиантов нигде нет; жалко смотреть, в какой нищете и в худом состоянии королевские войска ныне пребывают, а чтоб была амуниция или какая артиллерия, о том и поминать ненадобно: что ни было, все побрал неприятель; разве бог сошлет св. духа, чтоб их наставил на доброе дело».

Доброго дела не было: по старанию Радзеевского и познанского воеводы Станислава Лещинского в великой Польше образовалась конфедерация против Августа. Шведы, под начальством генерала Реншельда, заняли Познань и поддерживали конфедерацию.

Но в Литве приверженцы Августа имели перевес: 28 июня 1703 года послы Великого княжества Литовского Галецкий и Хржановский заключили с Головиным договор, в котором обязались стоять за короля Августа, а Головин обещал выдать в Смоленске литовскому комиссару 30000 рублей, как скоро Речь Посполитая вступит в союз с Россией. Генерал-майор Корсак получил приказание двинуться из Смоленска к литовским границам, а стародубский полковник Миклашевский с 15000 малороссийских козаков идти под Быхов и отнять его у засевших в нем сапежинцев.

В конце сентября сдался шведам Торн после пятимесячной осады. Это событие усилило враждебную Августу партию, и в декабре Карл XII торжественно обратился с письмом к Польской республике, предлагая возвести на престол принца Якова Собеского и обещая поддерживать нового короля до окончательного утверждения его на престоле. Англия, Голландия и Австрия сильно встревожились, узнавши об этом поступке шведского короля. Английский посланник Робинзон представлял Карлу, как многим покажется жестоким и несправедливым

заставлять поляков свергнуть короля, которого они сами выбрали и хотят иметь; кроме того, как опасно давать народу случай свергать своего короля. «Удивительно, – отвечал Карл, – слышать такие замечания от посланника того государства, которое имело дерзость отрубить голову своему королю. Позволивши себе такое дело, Англия теперь упрекает меня в том, что я хочу лишиться короны государя, вполне достойного этого наказания».

В январе 1704 года примас Радзеевский созвал сейм в Варшаве под предлогом заключения мира с шведским королем, который объявил, что хочет трактовать только с республикою, а не с королем Августом. Предлог этот был нужен для того, чтоб сейм происходил в отсутствии короля. Уполномоченным от Карла на сейме был генерал Горн, и отряд шведского войска помещался подле здания, где происходили заседания сейма. Многие послы поветовые, не ожидая проку от такого сейма, начали было разъезжаться, но Радзеевский и Горн, заметив это, расставили у всех выездов шведских солдат, которые никого не пропускали. 2 февраля Горн передал сейму письменное объявление, что государь его не может войти ни в какие переговоры с республикою, пока она не будет свободна, т.е. чтоб переговоры и решения настоящего сейма не могли ни от кого зависеть, а для этого необходимо, чтоб король Август был свергнут с престола. Поляки будут иметь полное право это сделать, когда увидят неоспоримые доказательства, что король Август питал самые вредные замыслы против республики. Сейм потребовал этих доказательств, и на следующий день Горн представил извлечения из писем, перехваченных у графа Фицтума, когда тот в 1702 году ездил послом от Августа к Карлу. В письмах не заключалось прямых улик против Августа, но они были способны произвести сильное раздражение, потому что в них поляки назывались несостоятельными, вероломными, преданными пьянству и т.п.; также в этих письмах заключались намеки на возможность раздробления польских владений. Раздраженные депутаты постановили – отказать Августу в верности и послушании. Раздражение еще более усилилось, когда узнали, что Август по совету Паткуля, находившегося теперь при его дворе, схватил своего соперника, принца Якова Собеского, вместе с братом его Константином, считавших себя безопасными в Силезии, во владениях императорских; Собеские были заключены в Кенигсштейне.

Но когда первый пыл прошел, многие начали раскаиваться в сеймовом решении как совершенно незаконном и оскорбительном для нации, потому что оно последовало под чуждым влиянием. Скоро после этого король Август созвал другой сейм в Сендомире, где было постановлено – защищать права короля Августа, а Радзеевского с товарищи объявить врагами отечества. Это постановление было подписано 134 депутатами, тогда как постановление варшавского сейма подписали только 70 депутатов, и скоро оказалось, что большинство польского народонаселения было на стороне Августа. Вследствие этого партия Радзеевского начала колебаться, и обнародование решения варшавского сейма замедлило. Это сильно раздражало Карла: он требовал, чтоб польский престол торжественно был объявлен вакантным, грозя жестокими угрозами всем тем, кто будет этому противиться. Он дал знать сейму, что Польша может получить мир с Швециею только под условием торжественного признания своего трона вакантным, за что обещал 500000 талеров. Гарнизон в Варшаве был усилен для поддержки уступчивых, для грозы строптивым депутатам, и этим средством Горну удалось наконец исполнить желание своего короля: сейм обнародовал, что Август лишен престола и должно быть приступлено к избранию нового короля.

Кто же будет этим новым польским королем *милостию* короля шведского, потому что Карл не думал предоставлять полякам свободного выбора? Двое Собеских были заключены в Кенигсштейне; узнавши, что они схвачены Августом, Карл сказал: «Ничего, мы состряпаем другого короля полякам», – и предложил корону третьему Собескому, Александру, но тот не принял опасного дара. Карл был в большом затруднении. Говорят, министр его Пипер стал внушать, чтоб Карл провозгласил самого себя польским королем, снискал расположение народа уничтожением крепостного состояния и ввел бы в Польшу лютеранство, как то сделал Густав

Ваза в Швеции. Карл отвечал: «Я лучше хочу раздавать государства другим, чем приобретать их для себя, а ты был бы отличным министром какого-нибудь итальянского князя».

Из польских вельмож самым могущественным был коронный великий гетман Любомирский, которому и хотелось в короли; первым богачом был Радзивил, но Карл остановил свое внимание на человеке, который ему больше других нравился: то был Станислав Лещинский, воевода познаньский. Лещинский действительно мог нравиться: он был молод, приятной наружности, честен, жив, отлично образован, но у него недоставало главного, чтоб быть королем в такое бурное время, недоставало силы характера и выдержливости. Выбор человека, не выдававшегося резко вперед ни блестящими способностями, ни знатностью происхождения, ни богатством, разумеется, был важною ошибкою со стороны Карла; поднялся страшный ропот, ибо многие считали себя выше Лещинского в том или другом отношении. Радзеевский не хотел слышать о Лещинском, Любомирский начал склоняться на сторону Августа. Но упрямый Карл не думал уступать; шведские генералы жгли без пощады имения тех вельмож, которые стояли за Августа. На избирательный сейм не явилось ни одного воеводы, кроме Лещинского; из епископов был только один познаньский, из важных чиновников один Сапега; зато на поле, где должно было происходить избрание, виднелось 300 шведских драгунов и 500 человек пехоты, сам Карл находился с войском в трех милях от Варшавы. При страшном шуме и протестах шведская партия выкрикнула Лещинского королем.

Что же делал Долгорукий во время всей этой смуты 1704 года? 2 февраля он писал Головину: «При дворе королевском как министры, так мало не все саксонцы союзу с Россиею гораздо противны и всеми способами ищут препятствия, не уважают чести и пользы его величества, кроме одного постороннего князя Фюрстенберга, который великую склонность к стороне его царского величества имеет и пользы и дружбы между их величествами желает. Во время нынешнего моего пребывания с королем в Саксонии изо всего двора любовь и честь, по моему характеру, только имел я от него, Фюрстенберга, а другие саксонцы и видеть меня не хотели». Министр Флюк ни разу не надел присланного ему Андреевского ордена. Посол императорский хлопотал всеми силами, чтоб Август удалился из Польши в Саксонию; саксонские министры помогали ему в этом тайно. Узнавши об этом, я представил королю, чтоб он, надеясь на помощь царскую, без всякого сомнения спешил походом в Литву для соединения с литовским и вспомогательным русским войском, пока неприятель не пресек пути; в противном случае если неприятель поспешит вступить в Литву, то и тамошнее войско, оставленное без помощи, принуждено будет к такому же непотребному делу в конфедерацию, а если литовские войска отступят, то больше уже никакой надежды во всей Речи Посполитой не останется, а которые люди его королевскому величеству предлагают и рассуждают непотребно, для своих интересов, таким бы непотребным советам веры давать не изволил. Король отвечал, что соединиться с войсками союзными и литовскими сильно желает, только за поздним выступлением своих саксонских войск скоро идти в поход ему нельзя: 5000 войска, которое теперь при нем, находится в великой скудости, да и с таким малым числом идти в такой дальний поход очень опасно, ибо коронные гетманы неверны; уйти далеко от Саксонии за скудостью денег трудно, не только войско, но и двор свой содержать в таком дальнем пути нельзя. Я настаивал на своем, что если король своих войск скоро из Саксонии не получит или с теми, которые при нем, в поход не выступит и литовцев оставит без помощи, то легко лишится короны, которую неприятель старается всеми силами у него отнять. Я представлял, что царь во всех трудных делах по сие время никогда его не покидал, и ныне не покинет, и если войско и двор его королевский по какому-нибудь случаю будут в скудости, то царское величество до времени их не оставит и будет содержать во всяком довольстве. «Подтверждая, к вам пишу, что гораздо надлежит ныне иметь нам частую корреспонденцию, дабы мы ведали все действо и свое состояние. Не так потребно царскому величеству показать в нынешнем времени силу свою в северных странах против неприятеля, как здесь в Польском государстве. Если мы не пресечем сильно намере-

ния неприятельского, то впредь трудно будет домогаться чрез многое время и не мочно будет достать за многочисленную цену».

Но мы видели, что кроме Долгорукого при дворе Августа явился и другой царский посланник, Паткуль. Их донесения о польских делах не всегда были согласны. Так, Паткуль писал, что в Литве Вишневецкий и Огинский склоняются к неприятелю. Долгорукий опровергал это известие, писал, что нельзя сомневаться в этих вельможах, потому что переход на неприятельскую сторону противен их интересам и натуре. И в Польше провозглашение *детронизации* Августа имело хорошие последствия, по донесениям Долгорукого: «Все теперь открыто, и остался один исход – война, лукавые факции и предлоги неправые пресечены, скоро окажется, кто будет при короле, кто против него, у самого короля открылись глаза и много прибавилось к доброму делу охоты, и поляки добрее в своем деле теперь поступают». При этом Долгорукий советовал не давать денег более братьям Любомирским, гетману и подскарбию за их злодейство и к царскому величеству противность, тем более что и без великих подарков они скоро принуждены будут пристать к русской стороне; нечего их опасаться: и не в нынешнее время, в лучшую пору сабля гетманская не остра и подскарбиев мешок пуст, не могут они сделать ни добра, ни зла.

Долгорукий поспешил успокоить Головина и насчет нового или другого польского короля: «О нововыбранном в Варшаве королике не извольте много сомневаться; выбран такой, который нам всех легче: человек молодой и в Речи Посполитой незнатный, кредита не имеет, так что и самые ближние его свойственники ни во что его ставят и слышать о выборе его не хотят. Труднее бы для нас было, если бы выбрали королевича Александра Собеского, к которому поляки скорее бы пристали, и если король Август будет здесь сильнее неприятеля, то Станислав Лещинский исчезнет и нигде себе места не найдет».

Но если и Долгорукий писал, что не так потребно царскому величеству в нынешнее время показать силу свою в северных странах против неприятеля, как здесь в Польском государстве, то еще сильнее настаивал Паткуль на том, чтоб царь оставил прибалтийские страны и все свои войска перевел в Польшу для непосредственной борьбы здесь с Карлом. Но в 1704 году это было совершенно противно намерениям Петра, который, пользуясь увязнутием Карла в Польше, хотел обеспечить себе Ингрию и сделать для шведов войну в прибалтийских областях как можно затруднительнее. Паткулю, сильно протестовавшему и прежде против опустошения Ливонии, не нравилось утверждение царя на Балтийском море. Он писал Петру о желании короля Августа знать, какие будут распоряжения относительно возвращенных гаваней, чтоб не возбудить опасения в прочих потентатах, владения которых находятся при Балтийском море? Петр велел отвечать: «Война произошла от озлобления, нанесенного в Риме не только послам, но и самой царской особе, и господь бог посредством оружия возвратил большую часть дедовского наследства, несправедливо похищенного. Умножение флота имеет единственную целию обеспечение торговли и пристаней; пристани эти останутся за Россию, во-первых, потому, что они изначала ей принадлежали, во-вторых, потому, что пристани необходимы для государства, „ибо чрез сих артерии может здравее и прибыльнее сердце государственное быть“. Его царское величество объявляет, что ни единой деревни шведской не желает себе, понеже его величество всегда сие в памяти имеет, чтоб не быть причиною озлобления всех потентатов, что и делом, богу поспешествующу, окажет во уверение всем».

Еще в начале 1704 года Петр сообщил Паткулю свои мысли насчет ведения войны в этом году. «Король, как видим, спешит окончить дело счастливым полевым боем, но на чьей стороне будет успех – об этом знает один всевышний, нам же, как людям, надлежит смотреть ближайшее. Искание генерального бою зело опасно, ибо в один час может все дело быть ниспровергнуто (как случилось под Клишовом в 1702 году). Поэтому надобно, чтоб король в наступающее лето, устроив войско свое добрым порядком, старался бить неприятеля по частям и удерживал его в Польше, чтоб мы могли весною в Лифляндии два или три города осадить. Города эти, не

имея ниоткуда помощи, принуждены будут нам сдаться; мы их отдадим королю, который таким образом утвердится в Лифляндии лучше, чем прежде, и ближе к нам, к Ингрии, где теперь все наши войска, а прежде не было ни человека. Саксония, видя короля своего с таким основательным прибитком, будет усерднее помогать; также, если с кем-нибудь из нас случится несчастье, то будет куда пристать и поправиться, а не так, как на Двине: по одну сторону шведы, по другую поляки, и потому принуждены были с бесчестием в Саксонию бежать. Шведы не благодаря ли крепостям основательно смелы в этих землях? Если же король будет искать генерального боя и если этот бой кончится для него несчастно, то что произойдет? Мы можем потерять все свои завоевания и будем отделены друг от друга, а король не только от неприятеля, но и от бешеных поляков со срамом выгнан и престола лишен быть может. Поэтому надобно хорошенько подумать и не ввергать себя в такое бедствие».

Паткуль настаивал на своем, писал, что, будучи в Берлине, он мог побудить прусского короля к вступлению в союз только обещанием, что войска саксонские, русские, датские и прусские соединятся вместе и своею многочисленностью подавят шведов в Польше, после чего союзники приступят к разделу Польши, Лифляндии, Померании и Голштинии. Прусский король Фридрих I так обрадовался этому предложению, что сейчас же велел вербовать 12000 войска, но когда узнал, что царь, вместо того чтоб двинуться в Польшу, обратился к Нарве, то сильно рассердился и остался в бездействии. Чтоб отвлечь царя от осады Нарвы, напугать его ее следствиями, Паткуль писал: «Хорошо, если шведский король будет упрям по-прежнему: это будет очень выгодно для вашего величества, но если взятие Нарвы поумягчит его и склонит к миру, то опасаясь я очень, чтоб Голландия, Англия и цесарь не устроили мир, который никогда не будет выгоден вашему величеству; тут они все явно покажут то, что теперь тайно в сердце носят, а именно ненависть и зависть к России». Паткуль доносил также, что на имперском сейме в Регенсбурге тайно хлопочут о мире между польским и шведским королями и толкуют сильно об опасных следствиях, какие может иметь утверждение русского царя на Балтийском море, что подобное же опасение возбуждено и при всех других европейских дворах, не исключая и датского; из этого Паткуль выводил, что для царя должно быть главным правилом – шведа в Польше разорить и там устроить главную сцену военных действий до самого прекращения войны.

Паткуль в другой раз побывал тайно в Берлине и нашел прусского короля при прежнем намерении – приступить к союзу против Карла XII, если силы союзников в Польше будут так велики, что можно станет надеяться на успех. Король объявил Паткулю, что союзники должны заставить Карла XII выйти из польской Пруссии и этим дать прусскому королю перевести дух; иначе он не может сделать ни малейшего движения, пока шведы находятся в польской Пруссии и в состоянии, по первому подозрению, разорить бранденбургскую Пруссию и его, короля, так отделать, что он после не в состоянии будет повернуть ни рукою, ни ногою, потому что ему с бранденбургской Пруссии сходит миллион ефимков. «В то же время, – доносил Паткуль, – мы договариваемся и с королем польским, только тайно. *Главнейшее и труднейшее о польской Пруссии определили* ».

Насчет союза с Польшею Паткуль писал: «Поляки желают огромных денежных пособий: надобно им рот хорошенько мазать и не скупиться на обещания, но при этом постановить такие условия, каких они исполнить не в состоянии. Тогда явно можно их будет понуждать к исполнению союзного договора, а тайно мешать этому исполнению и таким образом получить право не давать им денег, а между тем будем их держать на веревке».

Союз между Россиею и Польшею против шведов был окончательно заключен 19 августа 1704 года. Союзные державы обязались воевать против общего врага, короля шведского, на суше и на море, отдельных договоров с ним не заключать и ни в какие сношения не входить. Палея принудить возвратить республике города и крепости, взятые в Смутное время. Все города и крепости, покоренные русскими в Ливонии, должны быть уступлены Польше. Царь

посылает королю под его команду 12000 войска; на 1705 год выдает королю 200000 рублей, или 2 миллиона польских злотых, на содержание польского войска, которое должно состоять из 26200 человек пехоты и 21800 – конницы. На будущее время каждый год, до окончания войны, уплачивает по 200000 рублей.

Между тем явились к королю в местечко Сокал (Бельзского воеводства) одиннадцать русских вспомогательных полков с отрядом козаков малороссийских. Полки привел обер-комиссар князь Дмитрий Михайлович Голицын; козаками начальствовал наказной гетман Данила Апостол.

Король Август, по словам Паткуля, остался очень доволен солдатами, но офицеры оказались никуда не годными и по возможности заменены были немецкими. Притом, по причине тяжкого похода, войско было истомлено, оказалось в нем много больных и беглых, в строю явилось от 6000 до 7000; из малороссийских козаков вместо 6000 оказалось только 3000. «Рядовые солдаты, – писал Паткуль, – так хороши, что лучше желать нельзя, обнаруживают совершенное послушание и охотно исполняют все, что им приказывают, но с офицерами невозможно ничего исполнить, и потому рядовые почти сами собою управляют; батальон стрельцов лучше всех; они очень понравились королю и генералам, особенно потому, что все крупные люди и одеты в одинаковое платье. Король просит ваше величество прислать ему 4000 таких выборных старых стрельцов, которые прежде уже были солдатами. Ружья большею частию нехороши и не равного калибра; одежда и убор во всех полках очень дурны». Паткуль, принявший начальство над присланными войсками, сейчас же столкнулся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, потому что офицеры постоянно ссылались на князя и, кроме его, не хотели слушаться ничьих других приказаний. Может быть, поэтому они и оказались так дурны в глазах Паткуля, который жаловался на Голицына, что он своими комиссарскими распоряжениями сильно вредит войску и если распоряжения эти будут продолжаться впредь, то войско может рассеяться от голода. Паткуль жаловался на непоследовательность Голицына, который то возьмет доставку всех запасов на себя, то вдруг слагает эту обязанность на королевское комиссарство, то сам хочет печь хлеб, то вдруг требует печеного хлеба, и требует, чтоб он доставлен был во мгновение ока. Паткуль сильно жаловался также на козаков: «Я команду над этими дикими людьми сдал генералу Брандту, потому что между ними нет послушания и никакого мужества, ни к чему они не годятся, кроме грабежа, который производит в войске голод и по всей земле великие жалобы. Оружие у них плохое; иные, кроме дубин, ничего не имеют».

Между тем в письмах к Головину Паткуль не переставал настаивать, чтоб царь со всем войском шел в Польшу: «Король Август мне сам говорил, что он решился лучше корону оставить, нежели вести такую жалкую оборонительную войну, на позор всему свету, давать себя гонять из одного угла в другой. Притом же так много людей, которые хлопчут, как бы разъединить царское величество с королем польским, именно желают этого саксонцы и цесарский двор; наговаривают королю, что он несет все бремя войны, а награды никакой себе ожидать не может, только Саксонию изнурит; денежные пособия от царя идут только на войну, для страны от них никакой пользы нет, а царь между тем берет себе города. Уверяю ваше превосходительство, – продолжает Паткуль, – что ни взятие Нарвы, ни победы в Лифляндии не заключают в себе ничего решительного; пока шведский король будет господствовать в Польше, до тех пор он будет господином войны и мира; надобно заметить, что в 1702 году он привел в Польшу только 12000 войска, в 1703 у него уже было 24000, в нынешнем 1704 году у него 33000, и без всякого сомнения полагать надобно, что в будущем году у него будет больше 40000».

В конце лета королю Августу удалось взять у шведов Варшаву с помощью русских войск; ему хотелось взять у них и Познань, для чего отправил к этому городу Паткуля с польскими и русскими войсками. Месяц простоял Паткуль бесплодно под городом, складывая всю вину на то, что не приходили обещанные 1500 человек саксонской пехоты; по его словам, он решился было уже и без этой пехоты на приступ, как получил от короля Августа приказание снять

немедленно осаду и отвести войско в безопасное место. Паткуль отвел войско в саксонские владения, в Нижние Лужицы (Лаузиц), и расположился при местечке Губбене, причем в русских полках оказался недочет в 1900 человек. Не все русские войска были с Паткулем при осаде Познани: четыре полка, под начальством полковника Герца, были оставлены им на Висле при большой саксонской армии. Отдалившись от этой армии, они были настигнуты шведами близ Фрауштадта, храбро защищались против превосходного числом неприятеля и, потерявши 900 человек в битве, засели в деревне Тиллероте. На другой день шведы напали на них и здесь; русские защищали каждый дом, каждый шаг, шведы предложили им сдаться, грозя, что в противном случае зажгут деревню; русские отвечали, что будут защищаться до последнего человека – и сдержали слово: множество их пало с оружием в руках или погибло в зажженных шведами домах, другим удалось уйти.

Паткуль жаловался на козаков, козаки – на Паткуля. Данила Апостол писал Мазепе: «От начала верной службы нашей престолу пресветлейших монархов никогда не были мы в таком бесчестии и поругании, как здесь от господина Паткуля, который самовольно принуждает нас быть под его командою и бесчеловечную обнаруживает суровость, стращает нас виселицею и объявляет, будто великий государь отдал нас сюда за тем, чтоб и имя наше пропало. Под Варшавою 24 августа назначено было идти на штурм, и Паткуль велел козакам одеваться в латы немецкие; один козак не захотел, и он ему поранил ухо, другой не захотел – того прибил мало не до смерти. Разговаривать с ним, гордомысленным, трудно. Слезно, именем всего войска прошу избавить нас из-под команды этого злочестивого человека. О чем ни просим – не слушает, а потехи не спрашивай: войско наго, босо, голодно. Только советной отрады имеем у князя Григорья Федоровича Долгорукого, с которым без толмача разговаривать можем; также и генерал Брандт со мною в товарищеском совете, и он только мне подает отраду и утеху, как человек правдивой совести и знающий хорошо здешние поведения; если б не он, бог весть, как бы я обходился с этими немцами, не умея с ними разговаривать. Если дальше должны будем идти, то войско, и под страхом смертной казни, не удержится, потому что нечем жить; хотя и служим, обливаясь кровию и теряя живот за здешний маестат, однако чести ни от кого не имеем». Апостол не оправдывает и козаков своих. «Козаки, – пишет он Мазепе, – так остервенели на своевольстве, что никак их унять нельзя, хотя беспрестанно и без пощады наказываются».

В декабре 1704 года явились в Малороссию козаки, ходившие в Польшу, и объявили, что, отступив от Познани, Паткуль отобрал от них лошадей и отпустил пешком, не давши ни провожатого, ни наставления, куда им лучше пройти; они пошли к Кракову, но, не доходя до Велюна, были настигнуты шведами и поляками Лещинского и разбиты; спаслось в Краков 80 человек, которые и возвратились в Малороссию с пропускным листом от короля Августа. Козаки возвратились без вождей: Апостол, без царского указа, бросил свое войско и уехал домой; то же самое сделал переяславский полковник Мирович, отговариваясь голодом и холодом.

Про козаков никто не говорил доброго слова, но никто не говорил доброго слова и про Паткуля. Долгорукий писал Головину: «Король мне на Паткуля жаловался, будто он с досады, что не успел взять Познани, к его величеству писал так противно, что токмо изволил терпеть для дружбы царского величества, и притом будто с сердца писал, что и команду свою хочет покинуть. Изволите вы, чаю, Паткуля знать: не токмо слова, но и письма его надобно рассуждать; если во время злобы пишет, в то время и самому богу на похвалу на напишет».

В то время когда козаки ссорились с Паткулем в Польше и Саксонии, гетман их Мазепа управлялся с Палеем.

Еще летом 1703 года Мазепа дал знать в Москву, что Палей и Искра поссорились с Самусем, хотя у него самого отобрать гетманские клейноты и Самусь хочет перейти под гетманский regiment в полк Переяславский, где у него родной брат и другие родственники, но он, Мазепа, не позволил ему этого, велел до времени жить по-прежнему в Богуславе. «Палей почал вельми высоко забирать, – доносил Мазепа, – и не так с желательством своим ко мне отзывает».

ется, как прежде, и от часу больше к себе гультаев прибирает. Я жалованье монаршеское, к Палею присланное, у себя задержал до времени, присматриваясь к дальнейшим его поступкам. Пишет ко мне Палей, хвалясь, что крепость Белоцерковскую твердо укрепил, загнав с Полесья две тысячи человек. Самусь хвалится, что город Богуславль починил и укрепил. Искра объявляет, что Корсунь свой обновил и укрепил. Самовольства очень много со всех сторон к ним прибирается». В июле Мазепа писал: «Палей и не мыслит об отдаче полякам Белоцерковской фортеции, потому что города строит и большую силу гультаев к себе прибирает. Если нужно отдать полякам эту фортецию, то можно это сделать только таким способом: ехать мне самому в Киев с небольшим отрядом войска, будто для поклонения св. местам, призвать к себе туда Палея, Самуся, Искру и не отпускать их домой, но свои войска послать в Белоцерковскую и другие фортеции. Дивная то речь, что поляки, имея перед собою нужнейшее дело воинское со шведами, так часто великому государю прошениями своими о Белоцерковской фортеции докучают. Возможно, послу царского величества, при дворе польском резидующему, объявлять полякам, что и после можно будет им получить Белую Церковь, потому что Палей, Самусь и Искра на небо не взлезут, под землю не схоронятся, должны будут волею-неволею исполнить монаршеский указ». В сентябре Мазепа прислал за новым монаршеским указом: «Палей, Самусь и Искра, поссорившись, пишут ко мне, просят, чтоб я их поделил и универсалом своим тот надел утвердил. Палей от себя присылал ко мне людей, прося денег на жалованье своему войску; также Самусь и Искра, имея при себе несколько сот конного гультайства, оставшегося от прежних бунтов, просят денег, сказывая, что гультайство это к ним собиралось, будучи обнадежено добычею ляхскою, а ныне, когда я указом монаршеским пригрозил, чтоб смирно жили и ляхов не задирали, то они и докучают о деньгах, чтоб как-нибудь им гультайство у себя удержать». В январе 1704 года Самусь и Искра приехали к Мазепе в Батурин с просьбою, чтоб успокоил их ссору за города и села около Богуславля и Корсуня. Мазепа отвечал им: «Как вы там без моего ведома сели и завладели, так сидите и делайтесь, как вам надобно, а мне ненависти от поляков и даровой доуки не наносите». Самусь и Искра сказали на это: «Куда же нам деться, как не к православному монарху и не к вашей милости? Пишешься обеих сторон гетманом? Если вами не будем приняты, то доведется всем рассыпаться куда глаза глядят, потому что за поляками по их мучительству жить не можем и не хотим». 20 февраля 1704 года монаршеский указ состоялся – чтоб Палей непременно отдал Белую Церковь полякам, иначе вступят в нее царские войска. Но 29 февраля Мазепа писал следующее Головину: «Приехал ко мне Цыганчук, обозный Палеев, с платком свадебным, потому что Палей женил пасынка своего. Этот Цыганчук секретно сказывал мне, что Палей замышляет в подданство к ляхам, будучи прельщен частыми подсылками от Любомирских, подкомория коронного и гетмана. Любомирский же беспрестанно Самуся обсылает, то материями, то перстнями. Не лучше ли мне самому налегке в Киев поехать, а Палея из Белой Церкви в Киев будто на секрет призывать; из Киева лучше и способнее, чем из Батурина, исполнить волю монаршескую о Белой Церкви или о иных каких монаршеских делах. А если Палей с подручниками своими под власть лядскую приклонится, то нельзя надеяться от них ничего доброго: на сию сторону Днепра огонь выкинут, не забудут и запорожцев, яко малодушных и непостоянных людей, до своей компании призвать».

Чтоб заставить Палея высказаться, Мазепа послал к нему знатного козака с увещанием действовать против поляков по-прежнему; Палей отвечал: «Как мне с ляхами в доброй приязни не жить и к ним не склоняться, когда от царского величества и от гетмана получаю частые грамоты, чтоб мне с ляхами жить смирно и Белую Церковь им уступить. Но я ляхам и никому иному Белой Церкви не отдам, разве меня из нее за ноги выволокут».

В апреле Мазепа получил царский указ выступить со всем своим войском в польские владения против приверженцев Лещинского. Мазепа выступил в поход и 3 июня писал Головину: «О Палее прилежное имею радение, чтоб устремить его против Любомирских, хотя с

моею помощью, потому что при нем мало войска. Будучи насыщен духом и подарками Любомирских, он отговаривается то болезнию, то другими причинами и не хочет над ними промышлять; притом уже четыре недели как в обозе при мне находится и постоянно пьян, день и ночь, ни разу не видал его трезвого; да и товарищество его, как вижу, тем же духом Любомирских наполнилось». 15 июня новые вести о Палее от Мазепы: «Самусь, приехавший ко мне в обоз, был у меня несколько раз на приватном разговоре и объявил, что Палей подлинно ничего доброго царскому величеству и королю Августу не мыслит; присягнувши с домом Любомирских и побравши от них знатные подарки, обещал верно служить и постоянно пересылаться с ними тайно; так, недавно дал им знать: „Не бойтесь: гетман только для страху вам вышел, а ничего с вами не будет делать, вы что начали, то и продолжайте“. Самусь рассказал и то: Палей собирал раду за Белою Церковию и объявил, что Любомирские взяли его в защиту со всем его войском, говорил народу: „Во всей Польше нет знатнее и сильнее их; только они могут нас уберечь, потому что ежедневно надобно ждать под Киев шведа, государь московский далеко, а король польский на защитит, потому что и самого себя защитит не может. Сами знаете, каковы войска козацкие: немного постоят в поле, а как придет сенокос да жатва, то все и разойдутся по домам, гетман останется один, да и москва все новая, невоенная, которая не может вам ничего сделать“. „Еще потерплю ему до времени, – писал Мазепа, – пока, даст бог, перехвачу письма от Любомирских к нему или от него к Любомирским; когда будет явная улика в измене, тогда велю за караул его взять“.

Но улики не было, Палей стоял вместе с Мазепою, и тот продолжал посылать на него жалобы Головину: «Палей говорит перед своими козаками: гетман здесь даром стоит и никакого промысла военного не делает; если б я с своими людьми пошел, то давно б и я и люди мои обогатились добычею. – Я ему представляю, что по указу царскому и по желанию короля польского я должен стоять тут, а в глубь Польши не вступать, чтобы не разорять поляков и не давать им повода к ненависти против короля Августа. Но он ничего не слушает; рацьями говорить с ним трудно, ничего не понимает, потому что ум его помрачен повседневым пьянством. Гультайство Палеево в разных местах великое бедным людям причиняет грабительство, разбой, убийства и разорение, а все моим именем. Число этих Палеевых самовольных гультаев беспрестанно умножается из Запорожья и из других мест, и грабят не только около Буга и Днестра, но уже и через Днестр переправились, во владениях господаря волошского многих людей пограбили и до смерти побили, о чем пишет мне господарь волошский, требуя управы. Доношу и то: хотя бы. Белую Церковь и не нужно было отдавать полякам, и тогда Палея не надобно там более терпеть, потому что от него ничего доброго нельзя надеяться; особенно опасаться надобно, чтобы он, по моем уходе, какого огня не запалил, потому что он не только сам, повседневым пьянством помрачаясь, без страха божия и без разума живет, но и гультайство также единомравное себе держит, которое ни о чем больше не мыслит, только о грабительстве и о крови невинной, и никогда никакой власти и начальства над собою иметь не хочет». По письму Головина Мазепа предложил Палею ехать в Москву, но тот отказался: здоровьем слаб, да и незачем туда ехать.

Наконец Мазепа добыл улику, по которой счел себя вправе схватить Палея. Хвастовский жид-арендатор объявил, что Палей посылал его к подкоморию Любомирскому с требованием обновления договора, который был заключен Палеем с ротмистром, присланным от Любомирского; договор нужно обновить потому, что Палей веселился с ротмистром и не все пункты договора помнит. Любомирский отвечал: «Очень мне удивительно, что брат мой, господин Палей, так скоро позабыл подтвержденные присягою обещания, данные нам и всей Речи Посполитой. Главный пункт договора состоит в том, чтобы Палей был предан дому нашему и Речи Посполитой и шел бы туда, куда ему укажем; потом, чтобы набирал как можно больше войска, конницы и пехоты, и переменял сердюков с восточного берега, а как скоро получу деньги от короля шведского, то сейчас же пришлю ему значительную часть; пусть почаще

достаёт ведомости о заднепрском поведении и нам об них объявляет, особенно пусть теперь же проведает о войсках московских и козацких, скоро ли будут под Киев, куда намерены идти, как их много и кто над ними начальник? В монастыре Печерском сколько гарнизона и что за люди, сколько москвы и сколько козаков? В Белую Церковь пусть никого не пускает».

Жид объявил, что Палей и в другой раз посылал его к Любомирскому с письмом. Прочтя письмо, Любомирский сказал: «Благодарю господина Палея за известие, и я ему взаимно объявляю ведомости, хотя недобрые: пес Сас (саксонец), прежний король, взял Собеских за караул; пусть господин Палей прибирает себе как можно больше войска, потому что будем за Собеских псу Сасу мстить. Обещаю господину Палею, что Белая Церковь будет ему отдана навеки, только бы был дому нашему и Речи Посполитой предан».

Священник Грица Карасевич подтвердил показание жида об измене Палея, и Палей был схвачен, Белая Церковь занята русскими войсками; Мазепа доносил Головину: «Пьяницу того, дурака Палея, уже отослал я за караулом в Батурын и велел в тамошнем городе за крепким караулом держать; также и сын его взят за караул, и отошлю его в Батурын». Из Батурина Палея отправили в Енисейск.

При борьбе с страшным шведским королем русскому царю нельзя было ограничить свое внимание одною Польшею; нужно было расширить дипломатическую сферу, искать союзников вблизи и вдали или по крайней мере стараться, чтобы враг не приобрел их, и для этого нужно было постоянно следить за отношениями европейских держав, нужно было иметь постоянных министров при важнейших дворах западных. Любопытно следить за деятельностью русских дипломатов, новичков в деле, проходивших тяжелую школу, ибо без приготовления должны были действовать в самое трудное и опасное, печальное для своего отечества время, должны были действовать часто и без материальных средств, ибо бедная Россия не могла дать им возможности соперничать с министрами богатых государств.

В Вену хлопотать о посредничестве императора между Россиею) и Швециею был отправлен в 1701 году ближний стольник князь Петр Алексеевич Голицын, родной брат князя Бориса, человек уже бывалый на Западе, ибо ездил в Италию учиться морскому делу. Положение Голицына в Вене было печальное: двор был занят испанскими делами, боялся шведского короля и презирал Россию после нарвского поражения. «Главный министр граф Кауниц, – доносил Голицын, – и говорить со мною не хочет, да и на других нельзя полагаться: они только смеются над нами. Люди здешние вам известны: не так мужья, как жены министров бесстыдно берут. Все здесь дарят разными вещами, один только я ласковыми словами». Голицын видел, что ни ласковыми словами, ни даже подарками нельзя ничего сделать, что одна *виктория* может заставить иностранных министров говорить с посланниками русскими, и потому писал: «Всякими способами надобно домогаться получить над неприятелем победу. Сохрани боже, если нынешнее лето так пройдет. Хотя и вечный мир учиним, а вечный стыд чем загладить? Непременно нужна нашему государю хотя малая виктория, которою бы имя его по-прежнему во всей Европе славилось. Тогда можно и мир заключить, а теперь войскам нашим и управлению войсковому только смеются».

Но венский двор, знаменитый в истории выгодными брачными союзами, не изменил своему характеру и относительно презираемой России. В феврале 1702 года Голицын доносил государю:

«Король шведский здесь ищет и много, кому надлежит, обещал дать денег, а ныне его посланник всех министров и других имеющих силу, а больше иезуитов подкупает, чтобы цесарь выдал за него дочь свою, и обещает принять закон римский, а сестру свою хочет выдать за эрцгерцога; только здесь еще не позволяют. Беспреданно меня просят, чтобы вы приказали прислать персоны (портреты) сестры вашей, царевны Натальи Алексеевны, и брата вашего, царя Иоанна Алексеевича, дочерей. Здесь при дворе этого усердно желают, и не раз сама императрица говорила мне, что хочет как можно скорее видеть портреты; больше склоняются к

царевне Наталье Алексеевне. По указу цесарскому говорил мне граф Кауниц, чтобы вы сына своего прислали в Вену для науки; до цесаря дошел слух, что вы обещали послать царевича к королю прусскому и в другие места, что очень огорчило цесаря. Кауниц требовал у меня ответа; я отвечал, что без воли вашей отповеди дать не умею; Кауниц прибавил: если б царевичу понравилась какая-нибудь эрцгерцогиня, то цесарь с радостью выдал бы ее за него, только б была ваша воля».

В то же время Голицын доносил: «Отдал мне визит нунций папский и говорил, что готов служить вам в деле повышения вашего маестата (титула). Говорил также, чтобы вы позволили при своем дворе быть послам римским не для каких-нибудь дел, а только для повышения вашего маестата, и послы уже готовы в Риме к отправлению, только не смеют ехать без вашей воли. Если вы им прикажете приехать, то они не будут ничего требовать, станут жить на своем корму, по здешнему европейскому обычаю; папа это делает только для чести вашей и для любви с вами». Головину Голицын писал, что виновником прежней холодности был Кауниц, задаренный шведским королем, но теперь и Кауниц стал гораздо мягче; теперь на стороне царского величества папа, и нунций папский имеет великую силу при дворе, может сделать все, что захочет. Нунций, осыпая Голицына любезностями, объявил ему, что шведский король чрезвычайно опасается союза Австрии с Россией и изо всех сил ему препятствует, хочет принять римский закон и просит за себя дочь цесарскую, подкупает министров, а императрицу обольщает королевством Польским: предлагает нынешнего польского короля низвергнуть, а на его место возвести императрицына брата, курфирста пфальцкого; впрочем, нунций сказал, что они до этого не допустят. Голицыну дано было знать, что папа готов признавать царя восточным императором (за цесаря ариантальского).

В конце лета 1702 года явился в Вене инкогнито Паткуль и нашел цесарский двор в большом страхе от успеха шведов в Польше: победоносный король был на границах австрийских владений, которые были совершенно обнажены, так что шведы могли беспрепятственно дойти до самой Вены. В этом страхе императорское правительство готово было сделать все по воле Карла XII, лишь бы помирить его с Польшею и удалить из этой страны. Паткуль, не имея никакого официального значения, стал действовать чрез датского посланника, предложил чрез него императору, как подозрительна должна быть для Австрии шведская дружба и как опасно для нее приращение шведского могущества. Выслушав это предложение, император пожелал, чтобы Паткуль имел тайный разговор с Кауницом. Разговор происходил в загородном саду Кауница, который представил прежде всего Паткулю, в каком опасном положении находятся дела в Польше; жаловался особенно на то, что император, по случаю войны за испанское наследство, не имеет возможности помогать королю польскому и принужден его оставить. Чтоб убедить Паткуля в необходимости и для царя последовать этому примеру, Кауниц объявил, что недовольные королем Августом поляки и шведы домогаются, чтоб султан объявил войну России, и надеются рано или поздно достигнуть своей цели, поэтому царю необходимо соблюдать величайшую осторожность со стороны турок; шведы, с своей стороны, хлопчут изо всех сил, чтоб заключить с одним из врагов отдельный мир, который даст им возможность воевать или против одного короля польского, или против одного царя.

Паткуль отвечал, что все это очень хорошо известно царю, но так как интересы царя и императора совершенно одинаковы как в отношении к польской смуте, так и в отношении к турецкому двору, то необходимо принять предложения о крепком союзе между Россией и Австриею, поданные князем Голицыным в январе и марте. Пока свет стоит, истинная дружба между шведом и австрийским домом невозможна, и турки никогда не забудут потерь, понесенных ими по последнему миру, и потому Австрия должна помочь царю во время нужды, чтоб иметь право получить от него помощь, когда сама будет находиться в опасности. Кауниц объявил на это, что союз невозможен; Паткуль узнал от министров датского и бранденбургского, что английский и голландский министры, также ганноверский двор стараются всеми силами

помешать сближению Австрии с Россией и во всех разговорах с императорскими министрами выставлять им на вид, как опасно увеличение могущества царя и как искренне расположен Карл XII к Австрии.

Видя решительное отвращение австрийского двора от союза, Паткуль употребил другое средство: зная, что предложение о брачном союзе между двумя дворами уже не тайна, слыша об этом толки при польском дворе, читая в курантах (газетах), Паткуль поручил датскому посланнику тайным образом осведомиться, в каком положении находится дело? Датский посланник дал знать Паткулю, что австрийский двор удивляется, каким образом разглашают, что императорский двор искал этого союза, тогда как, наоборот, предложение шло от царя, именно в мемориалах Голицына от 20 января и 26 марта, и двор императорский находится в затруднительном положении, не знает, что отвечать на такие предложения. Паткуль обратился прямо к самому Кауницу, и тот отвечал, что предложение было сделано со стороны русского двора. Тогда Паткуль через датского посланника отправил к Кауницу следующее предложение: 1) царское величество, имея в виду войну, которую император ведет в Италии и на Рейне, не хочет и не советует ему начинать прямые, наступательные действия против шведов; 2) царское величество желает одного, чтоб император тайным образом склонил Бранденбург и Данию к разрыву с Швециею, обнадеев их своею помощью при мире и в ином, а сам пусть остается в дружеских отношениях к Швеции; 3) помощь, которую император по договору должен давать королю польскому, царское величество перенимает на себя; 4) кроме того, царское величество согласен прислать императору 6000 своего вспомогательного войска, которому император не будет обязан давать ничего, кроме зимних становищ, хлеба и воинских припасов; 5) когда царское величество достигнет своей цели относительно Швеции, то вступит с императором в наступательный союз и пошлет ему 20000 войска; 6) не преминет и своих союзников заставить действовать в пользу императора; 7) царское величество может сыскать для императора денег займы за меньшие проценты, чем какие он принужден до сих пор давать; 8) больше всего император должен соблюдать выгоды короля датского, потому что его прибыли и убытки царское величество почитает наравне с своими; 9) так как император находится в дружестве с домом ганноверским, то может склонить его к отступлению от Швеции, за что царское величество со всеми своими союзниками обязуется соблюдать выгоды ганноверского дома и надеется оказать ему больше услуг, чем швед.

По поводу этого предложения Кауниц имел опять тайный разговор с Паткулем. Он соглашался на все статьи, но относительно второй объявил по секрету, что Бранденбург императору подозрителен и потому надобно осторожно поступать с этим двором; нельзя делать ему предложений, чтоб не быть выдану: в последнем случае швед заключит мир и нападет на Силезию, от которой так близко стоят его войска. Императорскому министру в Берлине пошлетсся указ осторожно выведывать о расположениях тамошнего двора. Что же касается датского короля, то император вполне ему доверяет. Паткуль сказал на это: будет ли угодно императору, когда Бранденбург склонится к разрыву с Швециею? Захочет ли император выслушать предложение об этом со стороны бранденбургского посла? Кауниц отвечал утвердительно.

Так как венский двор объявлял, что подозревает бранденбургский, а бранденбургский посланник твердил, что его двор готов приступить к союзу против Швеции, да не может верить императорскому двору, то Паткуль употребил следующее средство, чтоб заставить бранденбургского посланника сделать решительный шаг при свидетелях: он позвал его к себе вместе с посланниками датским и польским и начал толковать, как трудно склонить венский двор к охранению равновесия на севере; то ли дело прусский двор! Прусский посланник, тронутый похвалою, рассыпался в уверениях, что его король готов все сделать, лишь бы цесарь согласился. «Попробуйте объявить императору об этой готовности своего государя», – сказал ему Паткуль. «Ничего из этого не выйдет, потому что император ни о чем подобном слышать не хочет», – отвечал посланник. Тут Паткуль отвел в сторону посланников датского и польского,

объявил им о своем разговоре с Кауницом и что все дело теперь зависит от прусского посланника. Опять подошли к нему и завели прежнюю речь; опять прусский посланник начал уверять, что непременно сделал бы предложение, если б не был уверен, что его при императорском дворе и слышать не захотят. «Дайте слово, что сделаете предложение, если разуверитесь в этом», – сказал Паткуль. Посланник дал слово; тут Паткуль торжественно объявляет, что дело уже решено, император обещал выслушать у него предложение. Несчастный посланник, попавшийся в западню, смутился и спросил: «Для чего все это сделано без его согласия?» Паткуль отвечал: «Все равно, только бы вам были двери отворены, которые вы считали запертыми навеки; теперь всякий увидит, истинное ли расположение ваш государь питает к своим союзникам, потому что теперь нет уже ему никаких препятствий обнаружить свои намерения».

После этой сцены Паткуль съездил в Польшу и по возвращении имел опять тайный разговор с Кауницом. Австрийский министр объявил, что предложение сделано со стороны прусского посланника о разрыве с Швецией, но сделано так холодно, что с императорской стороны принуждены были встретить его с равною холодностью. «Впрочем, я надеюсь, – прибавил Кауниц, – что дело обделается, только надобно немножко подождать». Обещал хлопотать об этом всеми силами, но с условием, чтоб императору явно не придавали тут никакого другого значения, кроме значения посредника и поруки; тайно же он будет знать, как действовать. Паткулю хотелось выведать у Кауница, как смотрит венский двор на польского короля; для этого после долгого разговора он сказал: «Так как никто не хочет заступиться за короля Августа, то принужден будет наконец и царь его оставить». Кауниц отвечал ему: «Так бросайте же его во имя дьявольское, мы тогда будем знать, на кого нам надеяться». «Из этих слов я увидел, – пишет Паткуль, – что императрица в этом деле замешана, и если императорский двор к низвержению с престола короля Августа помогать не будет, то и с печали об этом отнюдь не умрет».

Паткуль уехал из Вены; Голицын остался и в начале 1703 года писал Головину: «Прошу, мой государь, сотвори надо мною божескую милость, высвободи меня от двора цесарского; ей, государь, истинно доношу: весь одолжал и в болезнях моих больше жить не могу, опасаясь, чтоб напрасно не умереть; нимало мне здешний воздух в здоровье не служит; великое удержание есть в делах монаршеских: посланники шведский и ганноверский своими деньгами не только министров, но и попов к себе приласкали». В мае Голицын дал знать Головину, что Кауниц беспрестанно напоминает ему о 5000 золотых червонных, которые Паткуль обещал ему и жене его высылать ежегодно, а Кауниц обещал за это, оставя другие дворы, верно служить интересам царским. Голицын писал, что надобно исполнить обещание: «Сами знаете, каков здешний двор и как министры здешние избалованы подарками других потентатов». В сентябре новое письмо о том же: «Униженно, мой государь, прошу, не ради себя, но ради повышения имени монаршеского. Кауниц беспрестанно говорит: когда пришлют деньги? Хотя бы на первый год исполнить обещание и прислать ему деньги! От этого-то дела наши так и коснеют. Сам изволишь рассудить: слишком год посулено, а ничего к нему не прислано: как можно им впредь нам верить?» Когда Паткулю дали об этом знать, то он отвечал, что действительно обещал Кауницу ежегодное жалованье, но с условием, что император будет помогать царю; услуги Кауница известны: за что же ему платить жалованье? Паткуль был прав, но прав был и Голицын, доносивший, что Паткуль ничего не сделал в Вене.

«Голландский двор – биржа всей Европы: надобно там иметь людей способных и сведущих», – писал Паткуль в 1704 году. Но Петр знал это гораздо прежде и еще до начала шведской войны отправил в Гагу Андрея Артамоновича Матвеева, сына знаменитого боярина Артамона Сергеевича.

Матвеев начал жалобами на свое печальное житье в Гаге. 9 февраля 1700 года он писал Головину: «Здравие твое, моего милостивца и государя, купно и со всечестнейшим домом вашим, всякого блага промысленник и податель отец наш вышний да удолголетстит во всякое благополучие неотъемлемым своим божественным благословением, чего тебе, моему мило-

стивому государю, яко самому мне, выну усердствую. Жизнь моя зело здесь многоскучная и многоскорбная. Гравенгага самый скучный город, и люди зело не человеколюбны, а к дарам ласковы и к приезжим малое любительство имеют, только в своих повседневных утехах забавляются. Наймы дворовые несказанно каковы дороги: с великою ходьбою едва до мая месяца двор мог нанять по 35 рублей на каждый месяц, и то посредственный, а нарочитый по семи сот и по осьми сот на год рублей, а едучи с домишком чрез дальний путь, до конца истощился, а жалованье мне (2000 рублей) учинено против здесь пребывающих иных министров самое малое: чем год проживать, ум мой не достигнет, а с деревнишек вряд отправлять надлежащие великому государю подати, а не свои избытки. Умилосердися отчески, премилостивый государь батько, над сиротством моим, донеси премилосердому нашему государю слезное мое челобитье, чтоб он призрил на бедность мою и повелел хотя на покупку кареты и лошадей и на корм ко мне прислать, чтоб не на стыд при здешнем моем пребывании было житье мое, а тебе известно, что Гага комит или соединение имеет всех в себе наций послов в резиденции, а мне разве в затворе сидеть перед всеми?»

2 марта Штаты прислали сказать Матвееву, чтоб передал своему государю их покорную просьбу – не помогать датчанам на шведа, потому что и Швеция и Россия с ними в дружбе и они не хотят видеть войны между своими приятелями. Петр велел отвечать Штатам, что он, из дружбы к ним, не хочет вступать в войну с шведами, если только с их стороны не окажутся какие-нибудь неправды. Штаты обратились с новою просьбою, чтоб царь подарил Европу миром, послал грамоту к союзнику своему, королю польскому, с увещанием прекратить войну, начатую несправедливым нападением на шведские владения. В августе Матвеев получил от своего двора приказание объявить Штатам список обид, нанесенных России Швециею, и что за эти обиды никакого вознаграждения не последовало. Известие об осаде Нарвы русскими войсками произвело сильное неудовольствие в Голландии; Матвеев писал государю: «В стацком собрании великое неудовольствие учинили нынешние вести, будто вы начали с шведом войну, и, слыша о премногих обученных войсках ваших и о собрании денежных приходов, чему прежде здесь никогда не верили, очень тому не ради. Также очень неприятно им нынешнее строение у Архангельска ваших кораблей, от чего опасаются ущерба своему купечеству». Головину Матвеев писал: «Все министры о начатии войны беспрестанно меня спрашивают; я отвечаю, что дело невероятное; никакой ведомости о том ко мне нет, и тем неведением здесь не без зазора». Английский посланник именем своего короля Вильгельма III объявил Матвееву, чтоб царь учинил некоторый *армистициум* в войне шведской, а он, король, принимает на себя роль посредника. Матвеев повторял царю в своих донесениях: «Нынешняя война ваша со шведами Штатам очень неприятна и всей Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше взять у шведа на Балтийском море пристань, Нарву или Новые Шанцы; где ни сойдутся, постоянно толкуют: если пристань там у него будет, то не меньше француза надобно нам его бояться, отворенными воротами всюду входить свободно будет. Штаты находятся в очень затруднительном положении, потому что по союзному договору обязаны подавать шведу помощь, но если подадут эту помощь, то нарушат дружбу с вами. Больше всего боятся того, что у купцов их много товару в Риге, Нарве и Ревеле, и хлеб, который дал им швед вывезти из своих городов, весь лежит теперь в Ревеле, и если вас прогневать, а вы эти города возьмете, то их товары безвозмездно погибнут. Купечество здешнее и английское не прочь, чтоб этим городам быть за вами, и я, сколько могу, обещаю им большую свободу в торговле, если города эти будут за вами, и успокаиваю их всячески, чтоб только они не помогали шведу и не приуждали к тому Штатов своим докучным прощением. На днях был у меня Витзен с просьбою, чтоб вы, по милосердию своему к амстердамским купцам, приказали отдать им хлеб, который теперь в Ревеле, ибо они уверены, что этот город будет в ваших руках»... Приехал в Гагу король Вильгельм III, долго разговаривал с Матвеевым при всех иностранных министрах, вспоминал с великою похвалою о Петре, о его высоком разуме, о мудрой правительственной деятельно-

сти в такие молодые годы, о многочисленных войсках, как они собраны и обучены, жалел, что нынешний поход предпринят в жестокое осеннее время, не забыл упомянуть, что ливонские города исстари принадлежали России.

14 декабря пришла в Гагу весть о нарвском поражении и произвела *несказанную* радость. Матвеев писал Петру: «Шведский посол с великими ругательствами сам, ездя по министрам, не только хулит ваши войска, но и самую вашу особу злословит, будто вы, испугавшись приходу короля его, за два дни пошли в Москву из полков, и какие слышу от него ругания, рука моя того написать не может. Шведы с здешними, как могут, всяким злословием поносят и курантами на весь свет знать дают не только о войсках ваших, и о самой вашей особе. Здешние господа ждут мира, потому что лучшие ваши войска побиты и генералы, пушечные промышленники, взяты в полон, каких людей сыскать трудно, и солдат таких вскоре обучить невозможно». Головину Матвеев писал: «Жить мне здесь теперь очень трудно: любовь их только на комплиментах ко мне, а на деле очень холодны. Обращаюсь между ними, как отчужденный, и от нареkania их всегдaшнего нестерпимую снедаюсь горестию». Горесть увеличилась, когда Штаты прямо объявили Матвееву, что по старым союзным договорам, теперь обновленным, они обязаны во всем помогать Швеции. «А с намерением их король английский николи не разлучится», – доносил Матвеев. В начале 1701 года он потребовал от голландского правительства, чтоб оно, соблюдая древнюю дружбу о царским величеством, не велело принимать от шведского посла мемориалов, противных достоинству монарха русского, и запретило подкупленным от шведа журналистам (курантистам) печатать всякие неистовые хулы на особу царя. Получив от своего двора подробные сведения о Нарвской битве, Матвеев подал Штатам мемориал, который, по его словам, произвел свое действие: «Зело дивились непостоянству и лживой премене шведов в постановленьи перемирья с нашими генералы, и здесь во весь народ то отозвалось к великому бесславию шведу». Шведский посол Лилиенрот заказал написать на французском языке замечания на мемориал Матвеева, и заказ был выполнен согласно с желанием заказчика. Замечания написаны ловко и зло.

В Голландии и Англии сначала сильно хлопотали о мире между Россиею, польским королем и Швециею, чтоб можно было употребить шведские и саксонские войска против Франции, но когда получены были вести о сближении шведского короля с Франциею, то взгляд переменялся. В марте 1701 года Матвеев доносил: «Желают здесь продолжения войны у вас со шведом, боясь, чтоб Карл XII не заключил союза с Франциею и не разорил немецких земель, как отец его, в союзе с французом, разорил Бранденбургию. Шведский министр неотступно домогается у Штатов помощи королю его; Штаты отвечали ему, что они обязаны по союзным договорам помогать его королю на западе, а не на севере, потому что география разделяет Стокгольм от Ливонии, и они не обязаны туда помощи посылать». Голландцы находились в большой тревоге: война с Франциею за испанское наследство была неизбежна и требовала огромных усилий, а тут швед требует по союзным договорам помощи, требует 300000 талеров; Матвеев представляет, что нельзя Голландии давать помощь одной из воюющих сторон, когда она взялась быть посредницею; швед настаивает, чтоб или дана была немедленно помощь, или дан был решительный отказ, и в этом последнем случае грозит вступить в союз с Франциею, и в то же время шведы распускают слухи, что царь Петр сошел с ума; с другой стороны, французский посол в Гаге ласкается к Матвееву, домогается свободной торговли для французов у Архангельска, что сильно не нравится голландцам; шли толки, что царь вступает в союз с Франциею из боязни, чтоб Людовик XIV не поднял султана на Россию. В начале июля приехал в Гагу Вильгельм III; на аудиенции, которую имел у него Матвеев, король обещал «прилагать все способы к благопостоянству дружбы с царем»; приказал донести Петру, что перешлетя с курфюрстом бранденбургским насчет посредничества и постарается привести дело к лучшему порядку. Эти дальние обещания и общие фразы не значили ничего. Петр в глазах Вильгельма был побежденный государь варварского народа, наказанный за дерзкое предъяв-

ление прав на могущество и цивилизацию; Вильгельм холодно обходился теперь с Матвеевым, ласково с шведским послом, и Матвеев поспешил донести Петру: «Известился я подлинно, что король внутренне к вам не склонен и во всем приятель добрый и надежный шведу». Но эта добрая и надежная приязнь не простиралась также далее ласковых слов: когда шведский посланник начал и у него требовать помощи, то он оборотился к нему спиной и сказал своим: «Время о себе думать, а не чужим помогать».

Из всего было видно, что если английское и голландское посредничество не поведет ни к чему, зато России нечего бояться, что эти морские державы дадут помощь шведскому королю. Матвеев особенно прославлял услуги Витзена. «Господин Витзен ваш истинный и верный слушатель во всем; надежнее его из голландских персон к стороне вашей здесь нет. Будучи президентом Штатов; шведский посол прямо жаловался на него пенсионарию,сылки помощи и денег шведу, о чем я неотступно ему докучал письмами из Гаги. От этого теперь он в большом подозрении у Штатов; шведский посол прямо жаловался на него пенсионарию, что он вам прямой доброхот, ружье тайно к Архангельску из Амстердама пропустил; посол объявил пенсионарию имена тех купцов, которые ставили вам ружье и другие воинские припасы, и пенсионарий писал Витзену за это укорительное письмо». Поставщиками ружей для России были Гаутман и Брант, которые с помощью Витзена тайком вывозили их из Голландии в Любек, откуда морем в Россию. Брант посещал Матвеева тайком, потому что шведы всюду его искали убить. Матвеев приискивал также слезных мастеров, каменщиков с их учениками, художников шпажного железного дела.

В начале 1702 года Матвеев донес царю, что Штаты дали денег шведскому королю. По этому случаю он имел разговор с пенсионарием, который объяснил, что по союзным договорам Штаты обязаны посылать деньги шведу, но, по дружбе к царю, не посылали до сих пор; теперь послали несколько тысяч талеров, но не на помощь против русских, а в виде подарка, как и английский король ему послал по той причине, что король французский всячески привлекал его с собою в союз и обещал многие миллионы, лишь бы только швед оставался нейтральным и продолжал войну с Россией. Пенсионарий окончил свою речь уверением, что Штаты не дадут больше шведу денег ни гроша на продолжение Северной войны и будут по-прежнему употреблять все старание, чтоб доставить царю выгодный и честный мир, благодаря которому в обоих государствах, и в России, и в Швеции, торговля их усиливалась бы.

Пришел черед и Матвееву объявлять иностранным министрам и в куранты вносить об успехах русского войска в Ливонии. Пенсионарий поздравлял его с этими успехами и выражал надежду, что теперь швед склонится к миру с Россией и Польшею; с сердцем рассказывал пенсионарий, что труды Штатов к примирению на севере до сих пор оставались тщетными, потому что шведский король не только не допускает к себе их министра, но отослал его от себя в Ригу, а оттуда принуждает ехать в Стокгольм.

Желая доставить войскам своим хорошую школу и заставить Англию, Голландию и императора хлопотать в интересах России, имея также большую нужду в деньгах, Петр писал Матвееву, чтоб предложил Штатам за деньги отряд русского войска на помощь против французов; Матвеев отвечал: «О перепуске войск ваших за деньги господам Статам усердно радеть буду, а вскоре того учинить нельзя для того, чтоб они больше пожелали сами того, нежели мне их о том просить, а если мне явно набиваться, тогда за малую цену или за ничто похотят тот со мною трактат учинить». Штаты отклонили предложение, объявив, что войска их, как сухопутные, так и флот, укомплектованы уже и потому договор должен быть отложен. Но было явно, что голландцам не нужны были русские войска, потерявшие при Нарве репутацию, потому что Штаты не переставали домогаться у Карла XII шведского вспомогательного отряда.

Летом приехал в Гагу инкогнито прусский король Фридрих I, которому хотелось быть штатгалтером голландским на место умершего Вильгельма III. Матвеев писал о своих отношениях к нему: «Я нахожусь при дворе его безотлучно; по наружности он ко мне чрезвычайно

милостив и разговаривает со мною часто по-латыни. О вас отозвался с великим почтением, как вы изволили сами видеть свет не по прежнему обычаю, и потому свое государство во всем мудро обновили и науку позволили, что прежде под смертною казнью было заказано, и повелели своим подданным ездить по свету свободно, а если б вы не были сами везде, то все так бы не управилось».

В начале 1703 года Матвеев опять объявил Витзену о желании царя, чтоб Штаты взяли в свою службу из Архангельска 4000 русских матросов. Витзен отвечал, что дело неудобное: если посылать в Архангельск за этими матросами голландские корабли, то они возвратятся очень поздно, когда уже флот уйдет в море; потом адмиралы говорят, что им очень трудно будет управляться с людьми, не знающими по-голландски и необученными их, голландским, морским приемам. Витзен прибавил, что гораздо удобнее было бы принять в голландскую службу пехотные русские войска, которые, будучи розданы по разным полкам, скорее бы выучились. Витзен не советовал Матвееву делать прямо предложения Штатам: дело не состоится, а между тем пустая молва разойдется по иностранным министрам. Матвеев из слов Витзена заключил, что «им то zelo ненадобно, чтоб наш народ морской науке обучен был».

Английское и голландское правительства не переставали уверять, что употребляют все усилия для водворения мира на севере, но, по уверению Матвеева, все это было только на словах: «От Штатов и королевы английской благопотребного посредства к окончанию войны нечего чаять; они сами вас боятся: так могут ли стараться о нашем интересе или прибыточном мире и сами отворить дверь вам ко входу в Балтийское море, чего неусыпно остерегаются, трепещут великой силы вашей не меньше, как и француза. Подлинно уведомлен я, что Англия и Штаты тайными наказами к своим министрам в Польше домогаются помирить шведа с одною Польшею, без вас, для своего особого прибитка; если швед помирится с поляками, то, думают они, против одного вас ему не нужно будет столько войска и часть его он может перепустить им; если даже швед станет воевать против вас со всеми своими силами и им не даст ничего, то польский король, помирившись с ним, свои саксонские войска перепустит цесарю. Недавно английский посланник имел с своими друзьями тайный разговор о северных делах, причем случился один мой знакомец. Посланник уверенно сказал, что скоро у шведа с Польшею будет мир. Знакомый мой заметил, что нельзя этому стать, потому что трудно будет уладиться с царем; посланник отвечал, что до мира с царем им нет нужды, и когда другой кто-то заметил, что король польский никогда без России не помирится с шведом, то посланник прямо сказал: найдем мы способы короля польского, разлучив с царем, помирить с шведом. „То англичан и здешних прямое намерение, – пишет Матвеев, – чтоб не допустить вас иметь какую-нибудь пристань на Балтийском море; отнюдь не хотят они и слышать такого соседства ближнего. Хотя они ласковыми лицами поступают, только их сердце николи неправо перед вами“. Наконец и толки о посредничестве должны были прекратиться; Карл XII прямо отвергнул его, объявивши, что принятием посредничества не хочет лишиться себя помощи Англии и Голландии, выговоренной в союзном договоре между ними и Швециею. 11 августа Матвеев донес, что Штаты подписали подтверждение старых своих договоров с Швециею, причем с обеих сторон обязались не соединяться с неприятелями друг друга; шведский король по окончании Северной войны обязан дать Голландии 10000 войска на ее содержание, и во время войны Штаты могут, за известную сумму денег, иметь вспомогательный шведский отряд, но обязаны возвратить его королю по первому востребованию. По секретному артикулу шведский король обязуется вступить в общий союз с Англиею и Голландиею, но артикул этот будет подтвержден в Стокгольме. После этого Штаты объявили Матвееву, что они не постановили с шведом никакого договора, вредного его царскому величеству, и вперед ни с ним и ни с кем другим не постановят.

22 марта Матвеев сообщил своему двору любопытные новости: прусский министр-резидент в Гаге Шметтау объявил голландским депутатам на конференции, что король его велел

занять своим войском город Эльбинг за нерасплату Речи Посполитой Польской и будет держать этот город у себя до тех пор, пока поляки не удовлетворят его совершенно по прежним договорам. Секретные письма из Берлина говорят о крепкой дружбе прусского короля с шведским: прусский домогается всеми силами у шведского, чтоб польская Пруссия отошла к нему и чтоб Август II был свергнут с польского престола; по другим письмам из Берлина и из Саксонии король польский вошел в тайную переписку с королями шведским и прусским; цель союза между тремя королями – раздел польских владений: король Фридрих I получает польскую Пруссию, Карл XII – Ливонию и Литву, Август II становится неограниченным государем Польши. Наконец, получены были известия, что прусский король тайно предлагал Речи Посполитой: если поляки отдадут ему свою Пруссию, то он вступит с ними в союз против шведов.

В конце 1703 года Матвеев поехал в Амстердам, где первым делом его было повидаться с Витзенем, «общим нашим верным приятелем». Объявляя свои нижайшие услуги его царскому величеству, Витзен обнадеживал верно, что, хотя бы трактат, обновленный у Штатов с шведом, и был прислан сюда, подписанный Карлом XII, все же Штаты теперь не в состоянии дать шведу денежную ссуду по его желанию, потому что им самим деньги очень нужны при этой войне; пусть царское величество на его слово будет надежен. В Амстердаме в это время под надзором вице-адмирала Крюйса, находившегося в русской службе, жили «русские робята», учившиеся по-голландски и по-французски. Матвеев всех их пересмотрел и нашел их изрядно выученными как письму, так и порядку здешнему. Число их скоро увеличилось: к Матвееву явилось 16 человек холмогорцев, отправленных по царскому указу с Двины за море для науки на новом корабле «Св. апостол Андрей», принадлежавшем холмогорцу Осипу Баженину; флаг и пас на корабле были русские, а корабельщик Клас Вестер. Французские каперы захватили корабль, отвели в Дюнкирхен и людей, ограбя донага, отпустили. Матвеев отослал холмогорцев к Крюйсу, чтоб роздал их в науку, кто куда годится.

Матвеев подробно извещал свое правительство о сношениях Англии и Голландии с Швециею, о содержании договора, между ними заключенного, но вдруг Паткуль, которому хотелось, чтоб на всех дипломатических постах были немцы, а он, живя в Дрездене или Гаге, был генерал-пленипотенциарием, заведовал всеми посольствами в Европе, Паткуль пишет Головину, что Матвеев ничего не знает о трактате Голландии с Швециею: «Если б я знал заранее об этом, то я поехал бы из Дрездена в Голландию инкогнито и нашел бы средство воспрепятствовать договору». Так обыкновенно отзывался Паткуль; все другие, особенно русские, ничего не умеют сделать, он один все может сделать, позабывая, что ничего не мог сделать ни в Вене, ни в Берлине, ни в Дрездене. Паткуль написал и Матвееву о голландском трактате с Швециею, написал своим обычным тоном, который так оскорбил Матвеева, что тот прекратил с ним сношения и написал своему двору: «Писал ко мне г. Паткуль, что будто там слышал он о некотором еще новом союзе у Штатов с шведом: то самая лжа, и ничего того отнюдь не бывало».

По возвращении в Гагу Матвеева ждало неприятное письмо от Головина: «Изволь попроситься немедленно в конференцию и предложить Штатам, что прислан к тебе нарочно указ великого государя, велено им объявить: как прежде царское величество чрез их посредство не отрицался честного мира с Швециею, так и теперь не отрицается без всяких больших вымогательств и тяжких запросов, хотя в продолжение двух последних лет и счастливо ведет войну». Матвеев отвечал, что не может ничего сделать, не посоветовавшись с Витзенем, а поспешить предложением – значит показать себя трусом при таких великих победах над шведами: «Как бы я ловко ни прикрывал настоящей цели своего предложения, но они по беглости своего ума и науки тотчас дознаются, в чем дело; притом же вам хорошо известно, что они явно отказались уже от посредничества по той причине, что шведы этого посредничества не приняли; три года уже, как они отправили к шведу своего посланника для посредничества и до сих пор даже прямого ответа не получили. Теперь они с Англиею хлопочут не о мире Польши с Швециею, но о том только, чтоб швед не овладел Данцигом ко вреду торговле обеих морских

держав. Так если бы я и стал некоторыми околичностями предлагать о посредничестве, то из этого ничего бы не вышло. Обновленный между ними и шведом договор не подписан, Штаты в деньгах шведскому министру, под предлогом войны, отказали, что королю шведскому очень неприятно. Я в последнем мемориале моем говорил Штатам о силе моего монарха, о счастье его оружия, а теперь вдруг стану искать чрез их посредство мира, как будто мы увидели совершенное свое бессилие пред неприятелем! Если бы я не только на явной конференции, даже на тайных разговорах объявил намерение царского величества, то это сейчас же будет в ушах у шведа, и если пользы нельзя ждать никакой, то нужно ли открываться? Другое дело, если б царское величество изволил вступить в союз с Англиею и Штатами как с державами, чрезвычайно сильными торговлею. Это дело теперь нужнее нам других, потому что государь от прямых своих союзников совершенно оставлен без помощи, а с противной стороны союз между двумя сильными державами, Швециею и Пруссиею, и если бы с нашей стороны было сделано Англии и Голландии предложение о союзе, то эти державы, не желая допустить нас к французскому союзу и предусматривая непостоянство шведского и прусского королей, которых подозревают в союзе с французом, без труда приняли бы наше предложение. Ратпенсинарий мне говорил, для чего государевы войска, удовольствовавшись взятием малых городков, упустили благоприятное время и больших поисков в Лифляндии не сделали? Жалел, что не были взяты ни Ревель, ни Нарва, опасался, что швед, в союзе с прусским, легко одолеет Польшу и обратит все свое оружие против государства Московского».

Матвеев не мог быть покоен, послушавшись царского указа, но, к счастью, он скоро был выведен из беды: сам ратпенсинарий заговорил с ним о возобновлении посредничества. Матвеев поспешил отвечать: «Если швед признает Штаты за посредников и Штаты сами будут ходатайствовать об этом мире у его царского величества и предложат о том мне здесь, то, без сомнения, великий государь не изволит им отказать». Матвеев усмотрел пенсинария зело удовольствована и догадался, что Штаты вызвались снова к посредничеству из боязни, чтоб этой роли не взял на себя король французский; потому что пенсинарий выдал себя, спросивши тут же у Матвеева: «А что, французский министр еще живет при дворе вашем и что слышно о делах ваших с ним?» Матвеев отвечал, что ничего не знает. При разговоре присутствовал и вице-адмирал Крюйс, который приезжал благодарить пенсинария за данное наконец Штатами согласие на принятие в голландскую службу 1000 русских матросов. Матвеев давал знать, что это согласие получено «чрез великие труды» его, Матвеева, и Крюйса, который неотступно домогался его у амстердамского адмиралтейства, и если б не это адмиралтейство, то конечно бы Штаты других провинций не согласились.

Предложение посредничества было сделано именно только с целию) ослабить подозреваемое французское влияние в России. Витзен прямо говорил Матвееву, что напрасно царь держит французского резидента в Москве: это шпион, который доносит обо всем не только своему двору, но и шведскому. Головин писал Матвееву, чтоб тот старался распалить злобу англичан и голландцев против шведа. Матвеев отвечал: «Неплошно радею и, сколько могу, всеми силами на то простираюся. Хотя Англия и Штаты, ведая внутреннее случение шведа с французом, душевно к нему злобны; однако же при нынешней своей жестокой войне опасаются его раздражить, чтоб он, швед, явственно отлучась от них, не вступил в новый союз. Только я ныне на всякую неделю уставил быть в своем доме собранию всем здешним первым господам и господам для собрания и забавы картами и иных утех, чтобы теми мог способнее, угождая им, в тех вышесказанных делах лучший способ к пользе и воле монаршей учинить, хотя мне и со многим убытком на всякой день тот их прием к себе станет».

Но вечеринки посланника для первых господ и госпож никак не могли искоренить в голландцах подозрения насчет усилия России на прибалтийских берегах. Матвеев писал, что он узнал секрет: Англия и Штаты чрез своих министров домогаются тайно у датского двора, чтоб тот не вступал в крепкий союз с русским царем, ибо если царь укрепится в Ливонии и Балтий-

ское море будет за ним, то не только Москва пресечет английскую и голландскую торговлю, но и самой Дании будет грозить постоянная опасность. Ратпенсионарий был постоянно на шведской стороне против России и на домогательства Матвеева, чтоб Штаты объявили себя против свержения Августа II с польского престола, сказал: «Ваш государь сколько тысяч денег своих передавал королю польскому, а тот истратил их на пустяки». Пенсионария надули, по выражению Матвеева, посланники прусский и ганноверский, великие во всем России неприятели. Вместе с, пенсионарием против России, за Швецию был и знаменитый герцог Марльборо, о котором Матвеев писал: «Боюсь, чтоб он, случась с министром шведским, прусским, ганноверским и пенсионарием, пакости в нашем деле какой не учинил». Для предупреждения пакости Матвеев просил Головина прислать подарки «здесьним надобным особам: истинно без того великие нахожу трудности здесь во всем. Голландцы все трусят перед шведом, будто подданные его, а Мальбург довольною мошною денег от стороны шведовой, конечно, ослеплен». В апреле Матвеев имел свидание с Марльборо и прямо сказал ему: «Англия и Голландия по какой нужде шведа имеют за всесветного монарха, его опасаются во всем и всегда и ничем противным не нудят к честному примирению, всегда все делают как его послушники, а он, видя то, ни во что их ставит и пуще в гордые вступает несклонности». «Что же делать? – отвечал Марльборо. – Мы очень хорошо знаем о пересылках шведа и польского примаса с Францией насчет свержения короля Августа и возведения на его место принца Конти; знаем, что швед Фабрициус отправлен в Константинополь, чтоб там вместе с французским посланником возбудить Порту к войне с Россиею; все мы это знаем, но, будучи заняты французскою войною, не можем начать войны с Швециею. Королеве осталось одно: послать строгие указы к своему министру-резиденту при шведском дворе, чтоб тот, вместе с голландским министром, неотступно радел о примирении польских междоусобий и о всеобщем мире в северных странах. Если швед останется и теперь при прежнем своем упорстве, то Англия будет с ним поступать неприятельски, и при этом мы вместе с Штатами больше всего боимся за нашего союзника цесаря: если швед на нас рассердится, то вступит в явный союз с Франциею и, соединясь с курфюрстом баварским, нападет на Силезию и Австрию». В конференции, которую имел шведский посланник в Гаге с голландскими правителями, те спросили его, зачем Карл XII хочет свергнуть с престола польского короля! «А зачем вы сами, – отвечал посланник, – согнали с престола английского короля Иакова и теперь хотите согнать с испанского престола герцога Анжу!» В той же конференции посланник объявил, что царь сделал его королю мирные предложения чрез прусского министра-резидента в Москве, требует себе от Швеции только одной морской пристани и больше ничего, но Карл XII об этом и слышать не хочет, потому что от русской пристани на Балтийском море не только Швеции, но Англии, Дании и Голландии будет большое препятствие в торговле. Это, разумеется, заставило Матвеева внушить голландцам, что от русской гавани на Балтийском море им могут быть только одни выгоды и что маленький русский флот назначается только для обороны этой гавани, а не для утверждения русского владычества на морях. Матвеев писал Головину: «Чтоб заключить торговый договор с Англией и Голландией и на Балтийском море установить с ними вечную и прибыльную торговлю – неусыпные труды и радения прилагать буду у Штатов и министров английских и стану всячески искать случая, каким бы мог способом в те дела порядочно и честно вступить к полезному совершенству; только такое великое дело требует своего благовременного часа и некоторого обождания, а вскоре переломить того у них нельзя и нечестно будет».

Матвеев толковал о том, как бы порядочно и честно вступить в дело. Паткуль считал Матвеева неспособным дипломатом и имел другие взгляды. Паткуль дал знать Матвееву, чтоб он вошел в сношения с датским посланником в Гаге по весьма важному делу. Дело состояло в том, что Паткуль писал датскому посланнику, обещая переводить в Гагу деньги для задаривания голландских правителей и побуждения их к войне с Швециею. «Вам, моему государю, известно подлинно, – писал Матвеев Головину, – что здесь разве малыми какими потешками,

винами или другими вещами, частыми и богатыми обедами довольствуются, а на денежные дачи, хотя бы горы золота им были предложены, никак не польстятся. Государи присылают им подарки, но это считается за простую учтивость, а не за посулы, и если я стану сулить им деньги, то явлюсь в их глазах бездельником и запятнаю свой высокий характер. Другое дело – предложить Штатам или королю датскому большую сумму денег, чтоб они за эти субсидии объявили войну Швеции, а если кого можно подкупить, то это фаворита королевы английской Мальбурга, чтоб он был весь на нашей стороне, и если Англия согласится на шведскую войну, то здесь будут этому очень рады».

Постоянно следя чрез Голицына и Матвеева за Австриею, Голландиею и Англиею, хлопота о том, нельзя ли от этих держав получить какой-нибудь помощи или по крайней мере удержать их от подания помощи шведам, Петр не хотел оставить без внимания и враждебной им Франции. В Париже с 1703 года жил дворянин Постников, без посланнического, однако, характера. К нему пересылались из России известия о победах царских войск над шведами; эти известия Постников переводил на французский язык и передавал министру иностранных дел, который показывал их королю. Но одними известиями о военных успехах Постников не довольствовался; он писал Головину: «Извольте приказать присылать ко мне сюда краткие выписочки указов, обновления законов и иных новоизобретенных распоряжений к лучшему управлению, которые его величество, хотя и воинскими отягчен делами, изволит повелевать публично объявлять, яко истинный отечества и народа своего отец, понеже здесь все хотят радостно знать не только всеславное начинание воинских отправлений по сухому и морскому пути, но и доброе и сладкое управление, которым сей присно хвалительный суверен начальствует над тако многочисленными народами. Извольте кому приказать особое иметь попечение собирать из приказов указы и присылать ко мне, которые будут ведомы во всей Европе для славы его царского величества и нашего отечества, а наипаче извольте пожаловать прислать ко мне подлинное описание флоты нашея, сколько кораблей сделанных и которые делаются и проч. Таковым бо славным делам его величества весьма надобно ведомым быти при сем славном дворе и писательным единым языком, которым едва не вся говорит Европа».

Уведомляя Головина, что французский двор послал неизвестно зачем одного иезуита в Константинополь, Постников прибавляет: «Сей солдат компании Иисусовы по-арабски основательно знает, и, егда преобразится платьем и чалму наденет, немощно узнать его. Иисусов ли ученик или дьявольский; не токмо церкви, но и государственным делам надобны иезуиты, и всегда годны сии верхоглавые отцы содружества Иисусова». Как все русские резиденты в то время, так и Постников имел поручения покупать в Париже разные инструменты, нанимать в царскую службу искусных людей, заказывать шитые золотом платья. Наем французских мастеров не удавался. Получив из России приказание нанять 12 хирургов или *цирюликов*, Постников обратился к министру де Торси с просьбою исходатайствовать на этот счет королевское позволение; Торси потребовал, чтоб охотники названы были по именам, и прибавил: «Куда им ехать? Поедут ли они!» Сильная потребность в подобных людях и для французской армии набивала цену: хорошие *цирюлики* требовали по 1000 французских ефимков в год и, «кроме сего, – писал Постников, – чают в край света ехать, к Москве, и дьявол их знает что говорят; егда слышат Москву нашу, чают, что она с Индиями граничит». Притом *цирюлики* требовали ручательства, что все обещания будут исполнены, и не верили Постникову как не имеющему посланнического характера.

Свержение короля Августа с престола польского, провозглашенное частию поляков, разумеется, поднимало вопрос, не призовется ли на польский престол прежний кандидат, принц Конти? Постников давал знать, что навряд Конти объявит себя вторично кандидатом на польский престол: денег нет; Постников сообщил также, что сильное впечатление при дворе Людовика XIV произвел манифест Петра к полякам; понравились начала, провозглашенные Петром, который принял в свою защиту права венценосных глав, ни от кого не зависящих, «только от

единого высшего над всеми суверенствующего бога, против неистовой быстроты злейших бунтов», и учил многомятежных поляков более уважать слова священного писания: «Не касайтесь помазанным моим».

Одновременно с отправлением Постникова во Францию в Россию приехал французский чрезвычайный посланник Балюз. 15 марта 1703 года был у него с Головиным тайный разговор. «Королевское величество, – говорил Балюз, – слышал, что царское величество по многим случаям недоволен союзом с цесарским величеством, и действительно, народ немецкий непостоянен, в дружбе совершенного окончания ни с одним государем не сохраняет, а постоянство короля французского в союзах вам, верно, известно не из нынешних только слухов, но и из книг многих. Я теперь прислан от короля для заключения союза между обоими великими государями. Донесите царскому величеству, чтоб изволил объявить статьи, на которых желает заключить союз с королевским величеством». Головин отвечал, что посланник должен прежде объявить статьи, на которых король его хочет заключить союз. «Царскому величеству ради каких мер, не видя никаких полезных стране своей дел, что какая из того будет польза, вступать в союз с государем вашим, оставя прежних своих союзников, с которыми у Франции ведется ныне война не малая. И если царскому величеству вступить в бесполезной себе какой союз с Франциею, то бесславие себе только учинит и старых союзников потеряет, а утаить этого будет нельзя, и если королевскому величеству потребен союз с царским величеством, то объявите подлинно, чем королевское величество удовольствует царское величество за вступление в союз, а с нашей стороны об этом союзе никогда предложения не было». Балюз отвечал, что ему ничего не наказано насчет объявления условий союза, но что он будет писать об этом к королю – какой будет ответ.

Но ответа не было, и Балюз в марте 1704 года выехал из России, а между тем, как мы видели, дюнкиркенские каперы схватили русский корабль «Св. Андрей Первозванный», принадлежавший братьям Бажениным, и другой, принадлежавший Елизару Избранту. Постников писал Головину: «Здесь двор великою злобою и противностию дышет на интересы его священного царского величества, и ныне сей огонь, под пеплом притворной политики таящийся, открылся: корабль наш в совете королевском морском пред самим королем конфискован и со всеми товарами отписан на короля; от какой причины король подвигся к сему, лучше меня вы, чаю, изволите ведать, ибо я не знаю, чего у вас требовал посланник французский. Тот же совет не удержал вески правосудия в равности, потому что шведский корабль, взятый французскими же пиратами, отдан назад по прошению посланника шведского и со всеми товарами. Извольте видеть, как открытым лицом здешний двор ласковую приклонность оказывает шведам, а не нам и действует бесстыдно против народного права, яко юристы говорят».

Для улажения дел о кораблях осенью 1705 приехал в Париж также без *характера* Андрей Артамонович Матвеев. «Город Париж, – писал он Головину, – нашел я втрое больше Амстердама, и людства множество в нем неописанное, и народа убор, забавы и веселие его несказанные. И хотя обносилось, что французы утеснены от короля, однако то неправда: все в своих волях без всякой тесноты и в уравнении прямом состоят, и никто из вельмож нимало не озлобляется, и ниже узнать возможно, что они такую долговременную и тяжелую ведут войну. Все мнят, что я приехал просить здешнего короля в посредники для мирного договора с шведом. Только от шведов премножество злых плевел о нас посеяно молвою и печатными злословиями в сем народе, ведая, что здесь нашего министра при дворе французском нет и мешать некому, что захотят, то делают без препоны. Французы сердиты, что посланник их, бывший при нашем дворе, нарочно от короля отправленный, никакого плода полезного не получил, и я боюсь, чтоб мне здешний хитрый двор такую же монетою не заплатил. Статский секретарь Деторций (де Торси) явно некоторой особе здесь говорил: если бы король от Постникова не был обнадежен в будущей дружбе между московским и нашим дворами, то и на мысль не пришло бы королю посылать в Москву чрезвычайного посланника».

23 октября Матвеев имел приватную аудиенцию у короля; Людовик «изволил сказать, что ему те присылки вельми любы и все он учинит к угодности царя, как в его возможности есть». Донося об этой аудиенции Петру, Матвеев прибавляет: «Здесь конечная в деньгах, а больше в людях скудость; к Рагоци, и к шведу, и к курфирсту баварскому посылки денежные и продолжение войны вычерпали деньги, конечно, уже. Швед здесь в почитании многом и дела его; к тому же и коронация Лещинского за добро здесь принята».

После аудиенции Матвеев сообщил де Торси свои предложения, тот обещал донести об них королю, а между тем Матвеев имел длинный разговор с Дебервилем, заведовавшим корабельными делами. Матвеев объявил, что если король не отдаст русского корабля и к прямой дружбе с царским двором не склонится, то впредь России будет малая надежда на их двор. Дебервиль отвечал, что первую помешкою дружбе между Франциею и Россиею были русские послы и посланники, которые приезжали с торгами только для своей прибыли, ничего не искали к пользе государя своего у короля, только делали неприличные, гордые запросы, короля презирали, с министрами ласкового и честного обхождения не имели, людей держали при себе озорников, пьяниц, драчунов, которые умному и политичному народу французскому дуростями своими досаждали, и потом, приехав в Москву, эти послы царя с королем смущали, и царь французский двор презирал и считал себе неприятелем. Царь не может слышать о французском дворе, и, кто при нем хорошо отзовется о короле, из своих или чужих, тот подвергнется бедствию; во время своей поездки в Ганновер царь пил шампанское и хвалил его, но когда ему сказали, что вино французское, то он его выплеснул и рюмку разбил, ругая французов. Притом же царь ненавидит веру римскую; в нынешний поход свой в Польше иезуитов и несколько монахинь римского закона своею рукою убил. Матвеев отвечал, что о поведении послов не может ничего сказать, потому что ничего не знает, что же касается до враждебного расположения государя русского к Франции, то это ложь, придуманная ганноверским двором, чтоб поссорить Россию с Франциею, ибо известно единодушие Ганновера с шведом. Царское величество всегда дорожил и дорожит дружбою королевскою и многолетнее правление Людовика XIV честным поминает словом; с мудростию царского величества не сообразен поступок с вином, распространенный двором ганноверским и шведским; что же касается до казни иезуитов и монахинь, то если, по сыску, они и действительно были казнены за какие-нибудь тайные пересылки с неприятелем или за умыслы над особою его величества, то и во Франции они имели бы такую же участь, несмотря на их духовное звание.

Новооткрытая для Западной Европы Россия с ее удивительным царем служила постоянно предметом чудесных слухов. Матвеев доносил об одном, из них, распространившемся при французском дворе: то был перевод народной русской песни об Иване Грозном, приложенный теперь к Петру; великий государь при некоторых забавах разгневался на сына своего и велел его казнить Меншикову, но Меншиков, умилосердясь, велел вместо царевича повесить рядового солдата. На другой день государь хватился: где мой сын? Меншиков отвечал, что он казнен по указу; царь был вне себя от печали; тут Меншиков приводит к нему живого царевича, что учинило радость неисповедимую. Когда французы спрашивали у Матвеева, правда ли это? он ответил, что все эти плевелы рассеваются шведами и прямой христианин такой лжи не поверит, потому что это выше природы не только такого монарха, но и самого простолюдина.

Наконец Матвеев дождался ответа по главному своему делу; Дебервиль объявил ему, что кораблей отдать нельзя: они отданы каперам, а не на короля взяты по прямым регламентам, постановленным между всеми европейскими государями, потому что в морских записках не показано было ни одного товара, принадлежащего русским подданным, в подписях имен ни одного русского имени, только голландские, а на флаги нельзя обращать внимания, потому что флаги могут быть фальшивые. Впрочем, король обещает вознаградить русских подданных за эти убытки, если заключен будет договор о свободной торговле между Франциею и Россиею. «Дружба здешняя, – писал Матвеев, – чрез сладость комплиментов своих бесполезная, в при-

быльном деле малой случай нам кажет; быть кому здесь из особ знатных в министрах – разве хотеть всякого презорства и унижения по обыкновенной гордости сего двора, который наши дела и нас не в велико ставит. Так и жите мое нынешнее здесь безо всякого дела; считают меня больше за проводывальщика, чем за министра; для того требую вашего к себе ответа, чтоб мне не волочиться бедно и бездельно здесь при таком коварном и богатом дворе; сменять дружбу англичан и голландцев на французскую не обещает нам прибытку».

Матвеев прожил в Париже до октября 1706 года: все шли толки о заключении торгового договора; наконец де Торси объявил ему именем королевским, что договор до общего мира заключен быть не может, ибо война мешает французским кораблям плавать в края северные; впрочем, король обнадеживает царя, что все московские корабли, которые войдут во французские гавани, нагруженные товарами, родящимися и делающимися в Москве, будут приняты по-приятельски, только хозяева и корабельщики должны сообразоваться с уставом, изданным для безопасности подданных государств нейтральных и для помешки пронырствам со стороны неприятельской. С этим Матвеев и уехал назад в Голландию. Следить за делами во Франции и сообщать новины остался Постников, «муж умный и дела европейского и пользы государевой сведомый и в языках ученый», по отзыву Матвеева.

С Франциею не ладилось у нас с самого начала. Петр был воспитан под впечатлением этих неладов. Разливал ли он шампанское из вражды ко всему французскому – мы не знаем, но что он не любил Франции и французов – это хорошо известно; кроме впечатлений молодости такая нелюбовь легко объясняется самим характером человека: какое сочувствие мог питать великий плотник, гениальный чернорабочий к блестящей и чопорной Франции Людовика XIV? Россия Петра и Франция Людовика XIV – что могло быть противоположнее? Грубая простота деревенского юноши и утонченные манеры старого напудренного маркиза! Мог ли понравиться посланнику великого короля простосердечный запрос первого русского министра Головина: «Царскому величеству ради каких мер, не видя никаких полезных стране своей дел, вступить в союз с государем вашим, оставя прежних своих союзников? Объявите подлинно, чем король удовольствует царское величество за вступление в союз с ним!» Балюз поспешил убраться из России, вследствие чего и Матвеев должен был убраться из Франции без кораблей, говоря в свое утешение, что смена дружбы англичан и голландцев на французскую не обещает нам прибытку. Действительно, Петр имел право на этом успокоиться. Но если дружба Франции не обещала никаких выгод, то вражда ее могла быть опасна в Константинополе, где французский посланник был влиятельнее других. Ведя тяжелую войну с Швециею, царь должен был обращать напряженное внимание на юг, откуда приходили постоянные слухи о вооружениях султана, желающего воспользоваться затруднительным положением России и отнять у нее недавние завоевания. Вот почему Петр с берегов Балтийского моря спешил обыкновенно в Воронеж наблюдать здесь за постройкою кораблей, необходимых в постоянно грозящей войне турецкой.

Для подтверждения мирного договора, заключенного Украинцевым, отправился в Турцию в 1701 году *ближний человек* князь Дмитрий Михайлович Голицын. Ему наказано было попытаться, нельзя ли заставить Порту согласиться на свободное плавание русских кораблей по Черному морю, чего никак не мог добиться Украинцев. Голицын пытался напрасно; визирь велел отвечать ему: на свободную торговлю между обоими государствами диван с радостью позволяет, но хода московских торговых кораблей по Черному морю никогда не позволит; лучше султану отворить путь во внутренность своего дома, чем показать дорогу московским кораблям по Черному морю; пусть московские купцы ездят с своими товарами на турецких кораблях куда им угодно. И послам московским также не ходить на кораблях в Константинополь, должны приезжать сухим путем. Голицын начал уговаривать рейс-эфенди, и от того такой же ответ: «Султан смотрит на Черное море, как на дом свой внутренний, куда нельзя пускать чужеземца; скорее султан начнет войну, чем допустит ходить кораблям по Черному морю».

Голицын должен был прекратить свои настаивания, особенно когда иерусалимский патриарх сказал ему: «Не говори больше о черноморской торговле, а если станешь говорить, то мир испортишь, турок приведешь в сумнение и станут приготавливать войну против государя твоего. Турки хотят засыпать проход из Азовского моря в Черное и на том месте построить крепости многие, чтоб судов московских не пропустить в Черное море. Мы слышим, что у великого государя флот сделан большой и впредь делается, и просим бога, чтоб он вразумил и научил благочестивейшего всех нас, православных христиан, государя царя Петра Алексеевича тем флотом своим избавить нас от пленения бусурманского. Вся надежда наша только на него, великого государя. А турки сильно того флота опасаются, и для той причины не изволь, бога ради, говорить, а если станешь говорить, то непременно засыпят ход, и в том надежда наша будет помрачена, а наше избавление может прийти только через Черное море, когда же засыпан будет ход, то хотя бы сто тысяч судов наделано было у великого государя, нельзя им будет плавать по Черному морю. Турки знают, что тот флот строится на них, и ты хоть тысячу раз говори, добровольно не отворят ход по Черному морю; великий государь может своею волею отворить ход Черного моря, а не просьбою у турок».

В ноябре 1701 года впервые назначен был посол для постоянного жительства при дворе султаном: то был знаменитый впоследствии Петр Андреевич Толстой. Мы видели Толстого вместе с братом в числе жарких приверженцев Софьи при воцарении Петра. Родственник их Апраксин уговорил их впоследствии отстать от опасной партии. Петр, ценя дарования Петра Андреевича, простил ему старые грехи, хотя, как говорят, в минуты откровенности припомнил ему их; так, однажды, взявши его за голову, сказал: «Эх голова, голова! Не быть бы тебе на плечах, если б не была так умна». Теперь стольник Толстой отправился на важный пост в Адрианополь (где жил постоянно султан Мустафа II) с тайным наказом: будучи при султановом дворе, выведывать и описать тамошнего народа состояние, какое там правление, кто правительственные лица, какие у них с другими государствами будут поступки в воинских и политических делах, какое устройство для умножения прибыли или к войне тайные приготовления, против кого, морем или сухим путем? Какие государства больше уважают, который народ больше любят? Сколько собирается государственных доходов и как? В казне перед прежним довольство или оскудение? Особенно наведаться о торговле персидской. Сколько войска и где держат в готовности и сколько дается ему из казны, также каков морской флот и нет ли особенного приготовления на Черном море? В Черноморской протоке, что у Керчи, хотят ли какую крепость делать, где, какими мастерами или хотят засыпать и когда? Конницу и пехоту после цесарской войны не обучают ли европейским обычаем теперь, или впредь намерены так делать, или по-старому не радят? Города – Очаков, Белгород на Днестре, Килия и другие укреплены ли и как, по-старому ли или фортециями, и какими мастерами? Бомбардиры, пушкарники в прежнем ли состоянии или учат вновь, кто учит, и старые инженеры и бомбардиры иноземцы ли или турки, и школы есть ли? По патриархе иерусалимском есть ли другой такой же желательный человек: о таких через него проведывать. С чужестранными министрами обходиться политично, к ним ездить и к себе призывать, как обычай во всем свете у министров при великих дворах; только смотреть, чтоб каким упрямством или невоздержанием не умалить чести Московского государства. Между прочими разговорами с министрами турецкими говорить и о том (если только это не возбудит подозрения), чтоб учредить до Киева почту.

Толстой нашел верного человека, который сообщал ему важные для него известия: то был племянник иерусалимского патриарха Спилиот. Спилиот дал знать, что крымский хан пишет к султану много противностей, чтоб поссорить султана с царем, объявляет, что с русской стороны строят много городов и кораблей; до сих пор турки его не слушают, однако послали строить город близ Очакова и Керчи, где мелкая вода. Толстой доносил Петру: «Мой приезд учинил туркам великое сумнение; рассуждают так: никогда от веку не бывало, чтоб московскому послу у Порты жить, и начинают иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, понеже

морской твой караван безмерный им страх наносит. О засыпании гирла морского вышло у них из мысли, а ныне приездом моим паки та мысль в них возбуждается, и о житье моем рассуждают, яко бы мне у них быть для усматривания подобного времени к разорванию мира. Уже я всякими мерами разглашаю, что я прислан для твердейшего содержания мира, обаче не верят, а наипаче о том сомневается простой народ». В другом донесении Толстой писал: «Ныне в странах сих покой, а войны и междоусобий нет; визирь нынешний глуп; денежной у них казны ныне малое число в сборе, а когда позовет нужда, могут собрать скоро, потому что без милосердия грабят подданных своих христиан. И ныне народ сомневаться не перестает и говорит, что никогда московский посол здесь не жывал, а сей посол живет не просто; иных государей послы живут для торговых своих дел, а у сего никакого дела нет, конечно, какой-нибудь есть вымысел. И в почтении меня презирают не только перед цесарскими, и перед французскими, и перед иными послами, и житье мое у них зело им не любо, потому что запазушные их враги греки нам единовверны. И есть в турках такое мнение, что я, живучи у них, буду рассевать в христиан слова, подвигая их против бусурман, для того крепкий заказ грекам учинили, чтоб со мною не видались, и страх учинили всем христианам, под игом их пребывающим, такой, что близко дому, в котором я стою, христиане ходить не смеют, и платье грекам одинаковое с бусурманами носить запретили, чтоб были отличны от турок. Ничто такого страха им не наносит, как морской твой флот; слух между ними пронесся, что у Архангельска сделано 70 кораблей великих, и чают, что, когда понадобится, корабли эти из океана войдут в Средиземное море и могут подплыть под Константинополь». В конце года Толстой писал Головину, что приехали в Адрианополь знатные крымские мурзы и молят султана, чтоб позволил им начать войну с Россиею; выговаривают, что они, крымцы, презрены от Порты Оттоманской и в ближних от Крымского полуострова местах строятся русские города, от которых терпят они утеснение, а впредь ожидает и совершенная гибель; объявляют, будто у них есть письма от короля шведского, от поляков и от козаков запорожских – все уговаривают их вести войну с Россиею, обещаясь помогать, будто козаки с клятвою обещаются царский флот пожечь. Порты еще на это не соглашается и всякими мерами от них отговаривается.

В начале 1703 года Толстой объяснил Головину дело. Старый глупый визирь был заменен новым, Далтабаном, человеком ярым, но нерассудительным, которому хотелось непременно начать войну с Россиею, но, видя, что султан никак не хочет на это согласиться, он подучил татар приехать в Константинополь с просьбой о начатии войны с русскими. Султан отвергнул просьбу, мало того, сменил хана; тогда визирь написал тайно в Крым, чтоб татары взбунтовались против султана, что он, визирь, пойдет их усмирять, но вместо усмирения соединится с ними и пойдут на Азов или на Киев. Татары возмутились, визирь начал делать большие военные приготовления, как будто для их усмирения. Тогда Толстой, подарив ближних людей, довел до сведения султановой матери об интригах визиря, объявил и муфтию, что эта интрига может грозить султану большою опасностью. Султанша пересказала все это сыну, и 13 января визирь был схвачен, задавлен и на место его назначен Магмет-паша, бывший рейс-эфенди. Новый визирь, «человек зело разумный», принял Толстого с великою любовью и уверил его, что со стороны Порты мирного нарушения не будет. «Мне ли, – говорил он, – нарушить мир, который состоялся моими трудами?» «Истиною или лукавством то говорил – бог весть, – писал Толстой, – уверенности никакой быть не может до тех пор, пока татарское дело прекратится и рати по домам разойдутся». В апреле Толстой Писал: «Новый визирь начинает чинить мне приветствование паче прежнего, но приветствования его, является мне, не столько для любви, сколько для опасения. На двор ко мне ни одному человеку пройти нельзя, потому что отовсюду открыт и стоят янычары, будто для чести, а в самом деле для того, чтоб христиане ко мне не ходили, а у французского, английского и других послов янычары не стоят. Христиане и мимо ворот моих пройти не смеют, иерусалимский патриарх с приезде моего до сих пор со мною не видался. Опасаясь царского флота, турки умыслили покорить Грузию, рассуждают так: если

московский флот выйдет на Черное море, то из Грузии по рекам, впадающим в это море, будет ему всякая помощь людьми и запасами, потому что грузины с русскими единовверны».

Татары были усмирены, и вслед за этим Порта предъявила русскому посланнику свои требования: 1) чтоб новая крепость, построенная у Запорожья, Каменный Затон, была скрыта; 2) чтоб в Азове и Таганроге не было кораблей; 3) чтоб назначены были комиссары для определения границ. Толстой отвечал на первое, что Каменный Затон построен на месте, от которого Россия не отказывалась по последнему договору; притом же принудили к построению этого города крымские татары, которые подучили запорожцев быть непокорными царскому величеству, и государь, для удержания своевольников, чтоб они не производили ссор между ним и султаном, как недавно произвели грабежом греческих купцов, велел построить крепость на берегу Днепра, вдали от границ турецких: такое царское премудрое дело заслуживает с турецкой стороны не подозрения, но похвал великих, ибо царское величество в строении этой крепости не щадит издержек – для сохранения мирных договоров, которому грозит запорожское своеволие. Чтоб не быть кораблям в Азове и Таганроге, об этом нет ни слова в мирных договорах. Сколько прежде было кораблей, столько же и теперь, 10 кораблей и 4 галеры, потому что увеличивать число их нет надобности. Отвести эти корабли вверх по Дону нельзя; истребить вещь, которая стоила стольких денег, – стыд; остаться без кораблей в Азове и Таганроге нельзя по разным причинам, особенно же видя в государстве вашем частые перемены начальствующих лиц: так, недавно война готова была возгореться от прежнего визиря; мирные договоры соблюдаются волею великих государей, а не сохранением или истреблением кораблей. Что же касается посылки комиссаров для определения границ, то великий государь этого определения не отрицает.

В августе Толстой дал знать, что пришли в Адрианополь бунтовщики, султана Мустафу посадили за караул, и на его место выбрали брата его Ахмета, и визиря поставили нового: «К стороне царского величества противности ныне никакой не слышится, и впредь вскоре тому быть не чаю, потому что великое в казне их оскудение».

Несмотря на это оскудение, Головин писал Толстому, нельзя ли занять турок, возбудив их к войне против цесаря? Толстой отвечал в январе 1704 года: «По приказу твоему начинаю к тому приступать самым секретным образом чрез приближенных к султану людей, но еще пользы не вижу никакой; главное препятствие в том, что нечего давать, и хотя бы и было что дать, боюсь потерять; француз потерял больше ста тысяч реалов, а пользы себе никакой не получил. Сыскал я одного человека, самого близкого к султану; человек этот очень проворен, он взялся за дело, однако не уверяет, что приведет его к концу, больше склоняется к войне с Венециею. Посулил я ему 3000 золотых червонных, если сделает дело, но он говорит, что и другим дать надобно, всего тысяч сорок золотых червонных, кроме его 3000. Он же мне говорил, чтоб промыслить прежде всего султану мех лисий черный самый добрый, да три сорока соболей, по сто рублей пара, и отослать бы эти подарки султану тайно чрез него, а будет ли от того прок или нет, не уверяет».

Головин дал знать Толстому, чтоб оставил дело, в котором нельзя было ожидать успеха по явному нежеланию турок воевать с кем бы то ни было. «Здесь все смирно, – доносил Толстой в половине 1704 года, – турки покою ради, и которые мне трудности были от татарских ложных клевет, ныне умолкли; визирь ко мне очень ласков и со мною обходится пристойно, как с другими послами; свобода мне ездить куда хочу, и ко мне всех пускают; устроилось это не иным, чем только казною великого государя; хотя бы кто был и умный человек, а без подарков получить этого у турок не мог бы». Но в Константинополе все зависело от произвола правительственных лиц: вдруг в сентябре султан переменял визиря Гассан-пашу и на его место возвел Ахмет-пашу. И вот, вместе с известием об этой перемене, Толстой шлет жалобу: «Новый визирь очень ко мне неласков, и мое скорбное пребывание, труды и страх возобновились пуще прежнего: опять никто ко мне прийти не смеет, и я никуда не могу ездить, с великим трудом и

письмо это мог послать. Вот уже при мне шестой визирь, и этот хуже всех». И шестой визирь недолго пробыл на своем месте; седьмой был Магмет-паша, «у меня на визирские перемены уже и смысла не достает, – писал Толстой, – и с подарками им не знаю что делать? Я с новым визирем видаться не буду спешить, потому что мне к нему в подарок отослать нечего». Подарок был прислан из Москвы, но мало помог, как видно из донесения Толстого в апреле 1705 года: «Посол турецкий, который был на Москве, еще в Константинополь не приехал, только прислал из Крыма человека к Порте с письмом, а что писал, того не знаю, но меня страшно стеснили, заперли со всеми людьми на дворе моем и никого ни с двора, ни на двор не пускают, сидели мы несколько дней без пищи, потому что и хлеба купить никого не пустили, а потом едва упросил большими подарками, что начали пускать по одному человеку для покупки пищи. В это время приехал ко мне из Москвы переводчик и подьячий с письмами и подарками от вас к визирю; письмо я визирю отвез и подарок отослал; визирь принял любезно и сделал мне маленькое послабление, но все же нахожусь в тесном заключении, какого по приезде моем сюда никогда еще не терпел. Притом нахожусь в большом страхе от своих дворовых людей: жив здесь три года, они познакомились с турками, выучились и языку турецкому, и так как теперь находимся в большом утеснении, то боюсь, что, не терпя заключения, поколеблются в вере, потому что бусурманская вера малосмысленных очень прельщает; если явится какой-нибудь Иуда, великие наделает пакости, потому что люди мои присмотрелись, с кем я из христиан близок и кто великому государю служит, как, например, иерусалимский патриарх, господин Савва (Владиславич Рагузинский) и другие, и если хотя один сделается ренегатом и скажет туркам, кто великому государю работает, то не только наши приятели пострадают, но и всем христианам будет беда. Внимательно за этим слежу и не знаю, как бог управит. Я меня уже было такое дело: молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками, вздумал обусурманиться; бог мне помог об этом сведать, я призвал его тайно и начал ему говорить, а он мне прямо объявил, что хочет обусурманиться: я его запер в своей спальне до ночи, а *ночью он выпил рюмку вина и скоро умер*; так его бог сохранил от такой беды. Савва знает об этом. И теперь, опасаясь того же, я хотел было отпустить в Москву сына своего, чтобы с ним отправить тех людей, от которых боюсь отступничества, но турки сына моего в Москву не отпускают».

Причина великого утеснения, которому подвергнулся Толстой, обнаружилась наконец: бывший в Москве посланником Мустафа-ага нажаловался на дурное обращение с ним в России, но Толстому удалось внушить султану подозрение насчет этих жалоб, и вследствие этого с русским посланником стали обращаться лучше. «По любви господина Саввы Владиславича, – писал Толстой, – имею таких приятелей, которые могут скоро узнать секреты у Порты и мне об них сообщают».

Вообще же со стороны Турции не было никакой опасности, и Петр мог сосредоточить свои силы на Западе, перенести оружие в глубь Литвы и подать деятельную помощь королю Августу. Но прежде, нежели мы последуем за царем в Литву, посмотрим, что происходило внутри России в эти первые пять лет великой войны.

Глава вторая

Продолжение царствования Петра I Алексеевича

Внутреннее состояние России в первые пять лет XVIII века. – Характер правления. – Правительственные лица. – Старые и новые чины. – Старые и новые указы. – Новая форма прошений. – Занятие составлением нового уложения. – Ратуша и воеводы. – Воеводы управляют вместе с городскими дворянами. – Финансовые меры. – Монета. – Деятельность прибыльщика Курбатова. – Манифест о вызове иностранцев в Россию. – Отвращение от жидов. – Средства образования для русских людей. – Школы. – Книги. – Первые ведомости. – Театр. – Столкновения иностранных учителей с русскими; дело Нейгебауера. – Гюйсен. – Меры для сохранения жизни и здоровья. – Меры против пожаров. – Меры против семейных беспорядков. – Запрещение подписываться уменьшительными именами. – Преобразование относительно духовенства. – Отсрочка в избрании патриарха. – Стефан Яворский. – Монастырский приказ. – Меры относительно церковных имуществ. – Ведомости о числе родившихся и умерших. – Московская академия. – Деятельность митрополитов – Димитрия ростовского и Филофея сибирского. – Митрофан воронежский. – Неудовольствия. – Молва о нерусском царе. – Григорий Талицкий. – Перемена платья. – Неудовольствия наверху. – Астраханский бунт. – Дела на Дону и в Запорожье.

Мы видели уже, что с самого вступления Петра в правление после падения Софьи правление это резко отличалось от правления его предшественников. Прежние цари редко отлучались из Москвы на продолжительное время, и все делалось с доклада великому государю; Петр и в эпоху потех, и в эпоху важных подвигов был гостем на Москве, и правление по необходимости продолжало находиться в руках известных сановников первостепенных, в руках бояр. Это, разумеется, должно было иметь свою вредную сторону: до царя стало далеко, и в самой Москве, следовательно, произволу правительственных лиц, не вынесших из древней России привычки сдерживаться, открывалось широкое поприще; люди, преданные Петру, сочувствовавшие его деятельности, сильно тяготились боярским управлением и с нетерпением ждали конца войны, который бы дал царю возможность управлять самому, как управляли его предки; эти люди надеялись понапрасну: мы уже имели случай заметить, что Петр не был царем в смысле своих предков, это был герой-преобразователь или, лучше сказать, основатель нового царства, новой империи и, чем более вдавался он в свою преобразовательную деятельность, тем более терял возможность быть похожим на своих предков; притом же и великая война прекратилась незадолго до его смерти.

Но если была вредная сторона явления, то не забудем, что здесь же давалось больше простора, самостоятельности; начиная отсюда, сверху, проводилась везде одна мысль – ставить русских людей на свои ноги, приучать их действовать самобытно. Нет сомнения, что князь Яков Долгорукий мог явиться только вследствие этих новых отношений и привычек, ибо при прежних отношениях наверху мы таких явлений не встречаем. Учреждение Сената с тем значением, какое дал ему Петр, было естественным и необходимым следствием боярского управления; явилось только новое слово, а дело было уже давно, к делу привыкли.

По списку 1705 года на Москве были следующие бояре: князь Петр Иванович Прозоровский, князь Михайла Алегукович Черкасский, князь Петр Иванович Хованский, князь Борис Иванович Прозоровский, Борис Гаврилович Юшков, Алексей Петрович Салтыков, князь Петр

Большой Иванович Хованский, Тихон Никитич Стрешнев, Степан Иванович Салтыков, князь Борис Алексеевич Голицын, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин. Кравчий – Василий Федорович Салтыков. Окольничие: князь Фед. Фед. Волконский, князь Ив. Степ. Хотетовский, Сем. Фед. Толочанов, Алексей Тимоф. Лихачев, Мих. Тимоф. Лихачев, князь Петр Лук. Львов, Мих. Ив. Глебов, Тимоф. Вас. Чоглоков. На службах бояре: князь Мих. Григор. Ромодановский, князь Юрий Сем. Урусов, Борис Петрович Шереметев, Фед. Пет. Шереметев, кн. Андрей Петр. Прозоровский, Фед. Алекс. Головин. Кравчий – Кирилл Алекс. Нарышкин. Окольничие: князь Фед. Ив. Шаховской, князь Дмит. Нефед. Щербатов, Петр Матв. Апраксин, Андр. Артам. Матвеев, князь Мих. Фед. Жировой-Засекин, князь Мих. Андр. Волконский, князь Юрий Фед. Щербатый, князь Петр Григор. Львов. Постельничие: Гаврила Ив. Головкин, Алекс. Мих. Татищев. Думный дворянин и печатник – Никита Моисеевич Зотов. Думные дьяки: Емел. Игнат. Украинцев, Гавр. Фед. Деревнин, Андр. Андр. Виниус.

По-видимому, все старина: бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки! Но подле старого здания возведено уже новое, перед которым старое не преминет исчезнуть. Сам царь проходит известные чины, и этих чинов не найдем мы в старинных списках; человек ближайший к царю и потому сильнейший из вельмож, Александр Данилович Меншиков не имеет ни одного из старых чинов; людей, с которыми мы так часто встречались и будем встречаться в истории Петрова царствования, Апраксина Федора Матвеевича, знаменитого короля Ромодановского и других не найдем в списке старых чинов, это люди молодые, т.е. малочинные, стольники, и не пойдут они подниматься по тяжелой лестнице старых чинов, возьмут новые, которые имеют значение в целой Европе. Таким образом, старые бояре и окольничие мало-помалу вымрут без преемников, и старые чины исчезнут сами собою без торжественного упразднения.

Но пока бояр, окольничих и думных дворян еще много, они управляют приказами, съезжаются вместе то в ближнюю канцелярию, то в столовую палату, *сидят* по-прежнему о делах, получают царские указы, кладут приговоры. Приказы существуют по-прежнему, иные с старыми названиями, другие преобразованы и получили новые названия: так, в 1701 году приказы Иноземский и Рейтарский соединены в один приказ *Военных дел*; Стрелецкий переименован в приказ *Земских дел*, потому что после уничтожения стрельцов в Стрелецком приказе оставалось еще полицейское управление. Но явилось уже много новых дел, и потому не удивительно, что являются новые приказы: Морской, Артиллерии, Рудокопных дел, Провиантский, Богаделенный и т.д.; подле приказов являются учреждения меньшего объема под именем канцелярий, например мундирная, банная канцелярия. Вследствие новых отношений, в какие поставил себя царь к государственным учреждениям, в начале 1700 года издан указ о неподаче просьб мимо присутственных мест государю, кроме великих государственных дел. В марте 1702 года издана была форма прошений, подаваемых на высочайшее имя: вначале должно было писать: «Державнейший царь, государь милостивейший» – и потом писать дело, а пред прошением вместо *милосердного* – «Всемилоостивейший государь, прошу вашего величества» и потом прошение, а по прошении совершить: «Вашего величества нижайший раб». В конце 1700 года издан был указ: «Всякие крепости, для пополнения государевой казны, а паче для ослабы всенародные волокиты и тягости и для лучшего усмотрения, писать в палате Ивановской площади особливо прибранным подьячим, 24 человекам, для того: прежде всякие крепости писали в приказах подьячие, и за многими великого государя по приличию нужными и скорыми делами всяких чинов людям, которым прилучалось какие крепости писать, были многие волокиты и убытки, а иные из приказных людей многие для своего излишнего мздоимания отговаривались всякими приказными, будто нужными делами, волочили за крепостями недели по три и по четыре, а иные месяца по два и по три, и от той продолжительной волокиты и за спасеньем, чтоб в продолжительное время те крепости не утерялись, и у кого по крепостям близ срока, давали приказным людям дачи великие. А и писали в приказах многие

крепости подьячие из молодых, малосмысленные, не токмо что могущие познавать во всяких крепостях всеаемые от ябедников плевелы и, усмотрев, оспорить, но и писать мало умеющие, и свидетели в подписке у крепостей являлись такие, которых и сыскать невозможно. И ныне в приказах и в ратуше никаких крепостей не писать и ведать те крепостные дела и подьячих в Оружейной палате боярину Фед. Ал. Головину с товарищи».

Одною из первых обязанностей, которую государь наложил на бояр, была обязанность составить новое уложение; в феврале 1700 года великий государь указал: быть у своих, государевых, дел и сидеть в своих, государевых, палатах боярам у уложения, и с уложенной книги 1649 года, и с именных указов, и с новоуказных статей, которые о их, государских, и о всяких земских делах состоялись после уложения, сделать вновь, снесши уложение и новые статьи, которые состоялись сверх уложения, и которые дела вершены, а в уложение и в новоуказных статьях о них не положено.

Мы видели, что для противодействия воеводским злоупотреблениям торговые и промышленные люди были изъяты из их ведомства; учредились ратуши и в отдаленных городах, но здесь воеводам тяжело было отстать от старых привычек, и бурмистры путивльской и орловской ратуш дали знать, что их воеводы, Алымов и Шеншин, вопреки царскому указу торговых тамошних и приезжих людей ведают, взятки с них берут и бьют их, кроме того, в государевых сборах и земских делах остановку чинят. Великий государь указал: взять обвиняемых воевод в Москву, допросить их и разыскивать *в ратуше*; поступать и впредь таким же образом в подобных случаях. На обвинения бурмистров отвечать в московской ратуше перед такими же мужиками-бурмистрами должно было очень не понравиться воеводам. Не могло им понравиться и то, что власть их была ограничена дворянами; в 1702 году государь указал: в городах губным старостам и сыщикам не быть, а ведать всякие дела с воеводами дворянам, тех городов помещикам и вотчинникам, в больших городах по четыре и по три, а в меньших по два человека, и, слушав те дела, и указ по ним чинить с ними, воеводами, тем дворянам обще, и те дела крепить тем воеводам и им, дворянам, всякому своими руками, а одному воеводе без них, дворян, никаких дел не делать и указу никакого по ним не чинить.

Издержки сильно увеличивались вследствие тяжелой и затянувшейся войны, вследствие новых учреждений, вследствие платежа союзнику, польскому королю, вследствие расширения дипломатической деятельности: при разных дворах нужно было содержать постоянных министров, которые тратили деньги на подкупы. Например, в 1704 году Матвееву в Гаге жалованья было по 15000 гульденов в год, а расходы его простирались до 27193 гульденов, и именно: на наем квартиры – 2200, на стол – 1560, на случайные столы – 1500, на дрова – 1000, на мытье платья – 200, на освещение – 500, на дворовую чистку – 60, на десять лошадей – 2600, кузнецу и на починку экипажей – 200; прислуги у него было: гофмейстер, доктор, лекарь, камердинер, пажи, повар, портьер, 10 лакеев, 4 девки работных. При увеличении государственных расходов надобно было обращать особенное внимание на увеличение доходов: в 1700 году отнято было право у владельцев мест, где производились торжки, брать пошлину на себя, пошлина стала идти в казну. В том же году издан указ: тарханы, с кого пошлин не имано, все отставить и брать пошлины всякого чина со всех по торговому уставу и по новоуказным статьям равные. В 1704 году велено все постоялые двory отписать на государя и, оцеля, отдавать на откуп, а владельцам дворов выдать деньги по оценке добрых и знающих людей, усматривая в том деле истины, чтоб никто обидим не был, а деньги за двory выданы будут без задержания. Доходы могли увеличиться с усилением промышленности и торговли, но это усиление не могло произойти вдруг, вследствие только правительственных распоряжений. Мы видели, что Петр предписал купецким людям торговать так же, как торгуют иностранные купцы, компаниями. Голландцы встревожились, и резидент Штатов фон дер Гульст просил у своего правительства инструкции, как просить царя об отменении закона о компаниях, но тревога была напрасная: в мае 1700 года фон дер Гульст писал в Голландию: «Что касается торговли компаниями, то это дело пало

само собою: русские не знают, как приняться и начать такое сложное и трудное дело. Я просил прежде, чтоб прислана была мне инструкция на этот счет, но если я получу теперь эту инструкцию, то замедлю ее исполнением, ибо, по вашему требованию, царь уничтожит дело, которого невозможность уже признана, и покажет вид, что он это сделал для вас».

С вопросом о торговле тесно связывался вопрос о монете. До сих пор монетное дело в России было в жалком состоянии; счет производился рублями, алтынами и деньгами, но монеты, соответствующей рублям и алтынам, не было, ходили только серебряные копейки и полукопейки или денежки безобразного вида, да и денежек в обращении было так мало, что во многих городах для размена в мелких торгах пересекали копейки надвое, натрое, а в Калуге и других городах вместо серебряных денежек торговали кожаными и другими *жеревьями*. «Для соблюдения серебряных копеек, чтоб в городах за умалением серебряных денежек, копеек не секли и кожаными и иными жеребьями не торговали и в пошлинном сборе за мелкою разменом лишнего ничего не переходило», в марте 1700 года государь указал делать медные денежки, полушки и полуполушки. Потом велено было чеканить золотые червонцы, одинокие и двойные, с портретом государя на одной стороне и государственным гербом на другой; серебряные полтинники, полуполтинники и гривенники, наконец, рубли. Таким образом, в России явилась своя крупная золотая и серебряная монета. До 1700 года на московском монетном дворе выбивалось серебряной монеты в год от 200 до 500000 рублей; в 1700 году выбито 1992877; в 1701 году – 2559885, а в 1702 году – 4534194 рубля. Об отношении русских денег к иностранным мы знаем, что в 1704 году иностранные купцы покупали в Голландии дукат по рублю десяти денег, в Москве продавали по рублю сорока; за перевод для русских, живших за границею, брали 13 алтын по 4 деньги на том основании, что русская монета стала легче в весу. Золоту и серебру Петр велел в 1700 году установить четыре пробы и сделать для всех проб разные клейма с означением пробы и года; при этом велено: избрать из знатных и искусных серебряных и золотых дел мастеров в Москве старост, а выбору их быть за руками торговых и мастеровых людей; дать этим старостам пробы и клейма и велеть смотреть, чтоб всякие золотые и серебряные вещи были добротою против установленных проб, клеймить их и записывать в книгу, означая, именно чей товар, в каком деле и сколько в какой вещи весу, и по этой записке брать пошлину, смотря по искусству работы: с лучшей по 10, средней по 7, с нижней по 4 копейки с фунта. Всех торгующих серебряными и золотыми вещами, также и мастеров переписать и собрать по ним поручные записки, в которых писать, чтоб мастера делали и торговые люди покупали золотые и серебряные вещи против проб. Староста не должен клеймить вещи прежде, нежели сам мастер не заклеямит ее своим клеймом, с означением года.

В 1704 году знаменитый прибыльщик, изобретший гербовую бумагу, Алексей Александрович Курбатов, бывший дьяком Оружейной палаты, открыл *воровское* (фальшивое) серебро в серебряном ряду. Продавец, видя беду, принес Курбатову 300 рублей денег да подьячим 150, прося загладить его воровство. Курбатов принял деньги как доказательство преступления и начал разыскивать. Оказалось много виновных, и велено было сдать дело в Преображенский приказ к страшному *королю* Ромодановскому. Курбатов сильно обиделся и написал любопытное письмо государю: «Князь Федор Юрьевич (Ромодановский) прислал мне письмо, писанное ко мне от Федора Алексиевича (Головина), в котором твоим, государевым, повелением написано, чтоб дело в составе воровского серебра отдать мне в Преображенское, которое дело я отдаю. Точию, государь, зело скорблю сердцем моим, что труд мой всеусердный и верное того дела основание, вижду, изничтожается и, для чего от меня взято, о том мне не явлено, слабость ли в том деле моя явилась или неверность. О начале того дела и о моих под подлогом взятках вернейшему твоему, государеву, рабу Александру Даниловичу (Меншикову) явих, и неоднократно; и впредь не точию о сем деле, но и о всех моих усердиях являти ему не престану, понеже вижду, истинно избран ти от бога сосуд есть. Благоволи милостивно вняти, почему невозможно сему делу быть в Преображенском. Яков Якимов явился в том же серебра воров-

стве, о котором сам князь Федор Юрьевич присылал стряпчего своего говорить, чтоб ему в том деле послабить. Дочь его, призвав меня в дом свой, о том же говорила; Кирила Матюшкин, который у него живет, не имея никакого дела, многожды о тех же ворах стужал, чтоб мне являть слабость, и бедство знатно по той ненависти наведено бедным того дела подьячим; Иван Суворов стужал многожды, едва не о первом воре просил и, что в том его не послушали, грозил на старого в том деле подьячего: попадетса-де скоро к нам в Преображенское! Подьячий Петр Исаков также просил о ином. Мать Федора Алексеевича (Головина) присылала с грозами, спрашивая, по какому я указу в том разыскиваю, и от иных многих непрестанное было стужание. Однако ж я пребывал в той беде, нимало их слушая; ныне колодники об отсылке в Преображенское все возрадовались, и из них некоторые бранили меня и говорили подьячему: что-де вы взяли и исцовали-де в деле, а выторговали кл..! и хвалились, говоря: „Лихо-де нам было здесь, а в Преображенском-де нам будет скорая свобода: дьяки-де и подьячие там нам друзья. Хотя князь Федор Юрьевич неправды сделать и не похочет, но чрез доношения и заступы учинят желатели неправды по своей воле“. Ей, всемилостивейший государь, один без всякого порока пред тобою вернейший твой при тебе раб Александр Данилович, прочие же все не без причины». Князь Ромодановский в свою очередь обвинил Курбатова и подьячих Оружейной палаты во взятках; Курбатов объяснил, что принял взятку нарочно, для доказательства вины принесшего, и представил список подаркам, которые получил за дела вершенные, ибо такие подарки не считались тогда противозаконными.

Знаменитый прибыльщик зоркими глазами смотрел всюду, как бы учинить прибыль казне великого государя. Летом 1704 года купец гостиной сотни Немчинов донес ему следующее: торговые люди подают сказки о торгах и пожитках своих в Монастырский приказ, и многие пишут неправду, например Шустовы – Матвей да Федор Семеновы, которые пишут в сказке своей, будто у них всяких пожитков только тысячи на две или на три и разорены все-конечно, а у них, знает он, пожитков дедов их умерших в селе Дединове близ сорока тысяч золотых червонных да несколько десятков тысяч рублей денег, а они, Шустовы, люди непостоянные: имея такое богатство, о нем небрегут и пьянством своим истощают, а не умножают, и если их не обуздать, то и до конца такое великое богатство истребят, и потому пусть великий государь укажет из палаты Оружейной послать с ним, Немчиновым, подьячего верного да 20 или 30 человек солдат, и он те золотые и деньги вынет. Курбатов дал знать об этом Меншикову и по его письму послал подьячего Хрипунова с солдатами и Немчиновым в Дединово. Хрипунов вынул у Шустовых в нежилых палатах коробку, заделанную меж полов и сводов; в ней оказалось червонных весом четыре пуда шесть фунтов, да китайского золота в коробках и кусках семь фунтов 13 золотников, да в гнилых куляках и мешках старых денег 14 пуд 8 фунтов, да под тем же полом старых денег 52 пуда 27 фунтов да 39 пуд 6 фунтов. Самых Шустовых привезли в Москву, и в Монастырском приказе перед боярином Мусиным-Пушкиным они сказали: слышали они от деда своего Василия, что положил он в казенную палату, что на их дворе в селе Дединове, денег с 30000 рублей да золотых семнадцать ли тысяч или 27, а сколько подлинно денег и золотых в той палате было, того они точно сказать не умеют, потому что они остались после дедов и отца своего в малых летах, а денег тех и золотых в той палате сами они не видали, а запечатана она была печатью деда их Василья. Но Хрипунов не удовольствовался только теми деньгами, счета которым сами Шустовы не знали или притворились, что не знали: он побрал и в жилых палатах, в сундуках жены Шустова, деньги, серебряную посуду. Все это отослано в Оружейную палату и явлено боярину Головину. Меншиков писал Курбатову: «Государь тебя и Немчинова пожаловал, велел вам дать жалованья из Шустовых денег по 5000 рублей: и ты надлежащее себе возьми, а Немчинову выдай по рассмотрению, буде доведется и если ни в чем он не приличен, а что у Шустовых в палатах (т.е. жилых) взято, и то все вели им выдать с роспискою». Оказалось, что Немчинов приличен к делу о воровском серебре, и деньги ему не отданы; на его долю старых денег выменено новых 5764 рубля 27

алтын 5 денег, и пошли они на разные расходы, например выдано из них 200 рублей Родиону Исаеву, *Ивану Посошкову*, Ивану Фирсову на новозаводство картного промысла (фабрикация игральных карт). Кроме Курбатова в 1704 году явились новые прибыльщики такого же происхождения, как и Курбатов: Степан Вараксин, человек князя Бор. Алекс. Голицына; Василий Ершов, человек князя Черкасского; Алексей Яковлев, человек думного дворянина Хрущова, и многие другие; по государеву указу велено им «сидеть и чинить государю прибыли». Из них Ершов был впоследствии московским вице-губернатором.

Нужны были деньги на войну; нужны были люди, и людей брали отовсюду. В феврале 1700 года государь указал: всяких чинов людям сказать: кто хочет людей и крестьян своих отпускать на волю, и тем людям и крестьянам давать отпускные, и с теми отпускными приводить их в приказ Холопья суда, а из того приказа таких отпущенных и вольных людей и крестьян, и которым людям отпускные довелось дать, из приказа Холопья суда отсылать в Преображенское, и которые из них годятся в службу, и тех писать в солдаты, и которые в солдаты не годятся, и на тех людей и крестьян, указал великий государь по прежним своим указам, давать из приказа Холопья суда на кабальных людей кабалы, а на крестьян судные записи, к кому они идти похотят. Нужны были люди и для населения новоприобретенных городов: для этого в 1701 году не велено было отдавать неплатящих должников в зажив заимодавцам, но велено было отсылать их с семействами на вечное житье в Азов. В 1703 году велено было казнить смертью только тех разбойников, которые совершили смертоубийство; тех же, которые уличены хотя и во многих разбоях, но не совершили смертоубийства, велено ссылать в Азов на работу. Тогда же вместо Сибири велено ссылать всех преступников в Азов. Смертная казнь назначена за измену, бунт, убийство и отравление; за остальные воровства – кнут и ссылка в Азов на каторгу.

Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли – вот две цели деятельности Петра, как он это ясно высказал в знаменитом манифесте своем о вызове иностранцев в апреле 1702 года: «Довольно известно во всех землях, которые всевышний нашему управлению подчинил, что со вступления нашего на сей престол все старания и намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтоб все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние; на сей конец мы весьма старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить государство от внешнего нападения и всячески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобнее научиться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах. Чего ради мы все наипаче к споспешествованию торговли с иностранцами необходимые приказания, распоряжения и учреждения всемилостивейше учинили и впредь чинить намерены; поелику же мы опасаемся, что дела сии не совсем еще в таком положении находятся, как бы мы того желали, и что наши подданные не могут еще в совершенном спокойствии насладиться плодами трудов наших, того ради помышляли мы о других еще способах, как бы обезопасить пределы наши от нападения неприятельского и сохранить права и преимущества нашего государства и всеобщее спокойствие в христианстве, как то христианскому монарху следует. Для достижения сих благих целей мы наипаче старались о наилучшем учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши не токмо состояли из хорошо обученных людей, но и жили в добром порядке и дисциплине, но дабы сие тем более усовершенствовать и побудить иноземцев, которые к сей цели содействовать и к таковому улучшению способствовать могут, купно с прочими государству полезными художниками к нам приезжать и как в нашей службе, так и в нашей земле оставаться, указали мы сей манифест с нижеписанными пунктами повсюду объявить и, напечатав, по всей Европе обнародовать». Иностранцы приглашались в Россию на

следующих условиях: совершенно свободный въезд, безопасность на пути и содействие всякого рода; свободное отправление веры; иноземцы не подвергаются суду и наказаниям, по обычаю русскому, для чего учреждается Тайная военного совета коллегия, которая будет чинить правосудие, во-первых, по законам божеским, а потом по римскому гражданскому праву и другим народным обычаям милостиво. Но, призывая отовсюду искусных иностранцев, Петр только для одного народа делал постоянное исключение, для жидов. «Я хочу, – говорил он, – видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю; не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают». Вести из Малороссии не могли внушить великороссиянам расположения к принятию жидов. В 1702 году 10 марта к черниговскому коменданту прислал полковник Лизогуб письмо, в котором говорилось, что в Черниговском уезде, в местечке Городне, жида замучили христианина и кровь рассылали по разным жидам, живущим в малороссийских городах. Перед судом в Чернигове жид Давид без пытки признался, что он с свояком своим Яковом замучил христианина; объявил, что многие жида собирались в селе Жуковце в корчме о своем жидовском празднике, именно на Трупки, было их человек сорок с лишком, и просили его, Давида, чтоб он добыл на праздник Пейсар крови христианской, что он и исполнил Яков также признался без пытки.

Как видно из манифеста об иностранцах, перемена преобразования клонилась к тому, чтоб русские люди могли научиться до тех пор им неизвестным познаниям, а познания должны были сделать их искуснее во всех торговых делах. Понятно, что при таком практическом взгляде Петру не нравился характер Московской академии, которая не была специальным духовным училищем, а светских людей выпускала без тех познаний, в каких особенно нуждался царь; ему нужно было такую школу, из которой бы «во всякие потребности люди происходили, в церковную службу и гражданскую, воинствовать, знать строение и докторское врачевское искусство», как он говорил патриарху Адриану. Но такая школа могла основаться только через пятьдесят лет с лишком; пока надобно было довольствоваться двумя способами выучивания русской молодежи необходимым познанием, отсылкою за границу и заведением в Москве школ, где бы иностранные учителя выучивали предметам первой тогда необходимости; явились школы математическая и навигацкая, где первыми преподавателями были англичане – Фарварсон, Гвин и Грейс. Школы эти находились в ведении Оружейной палаты, т.е. адмирала Головина и дьяка Курбатова. От 1703 года дошло до нас любопытное письмо Курбатова к Головину о состоянии школ. «По 16 июля, – пишет Курбатов, – прибрано и учатся 200 человек», – и признается, что «англичане учат их той науке чиновно, а когда временем и загуляются или по своему обыкновению почасту и долго просят. Имеем по приказу милости твоей определенного им помоществователем Леонтия Магницкого, который непрестанно при той школе бывает и всегда имеет тщание не только к единому ученикам в науке радению, но и к иным к добру поведением, в чем те англичане, видя в школах его управление не последнее, обязали себя к нему, Леонтию, ненавидением, так что уже просил он, Леонтий, от частого их на него гневоимания от школы себе свободности; однако ж я, ведая, что ему их ради гневоимания от школы свободну быти не доведется, приказал ему о всяких поведением сказывать до приезда вашей милости мне, и я, приусматривая, что он приносит о порядке совершенном, призвал их в палату и, сам к ним ездя почасту, говорю, а дело из них признал я в одном Андрее Фарварсоне, а те два хотя и навигаторы написаны, только и до Леонтия наукою не дошли». Потом Курбатов писал: «Прибрано учеников со 180 человек охотников всяких чинов людей, и учатся все арифметике, из которых человек с десять учат радикасы и готовы совершенно в геометрию, только имеем нужду в лишении инструментов, и, если изволишь, хорошо б заповедать указом таких инструментов у города (Архангельска) не продавать всяких чинов людям, а брать на школы, а по письму твоей милости если вывезено будет 60 человеком инструментов, и нынешний год таким числом пробавимся без нужды, а впредь надобно еще отписать, чтоб

вывезено было той же науки хотя сту человеком инструментов, или как воля твоя, для того что в арифметике ученики недолго пробавятся, а в геометрии без инструментов быти невозможно. А ныне многие из всяких чинов и прожиточные люди припознали тоя науки сладость, отдают в те школы детей своих, а иные и сами недоросли и рейторские дети и молодые из приказов подьячие приходят с охотою немалою, и, когда наполнится число 200 человек, а приходить будут нарочитые, принимать ли сверх двух сот человек и коликому числу совершенно быть? прошу о том определения указом. Навигацких наук учеников посажено и учатся в геометрии 12 человек, а еще поспевают человек с 20; точию доношу о сем, что учителя учат нерадетельно, а ежели бы не опасались Магницкого, многое бы у них было продолжение для того, что которые учатся остропонятно, тех бранят и велят дожидаться меньших; только я ему, Магницкому, молчать им не велел, а меньшей учитель, рыцарь Грейс, ни к чему не годный в непостоянстве всяком и в плутовстве б... и учеников потворствует, и сам большой учитель его не любит». В 1704 году Курбатов должен был отстаивать учеников от судьи Военного приказа Т. Н. Стрешнева. «Ныне, – писал Курбатов Головину, – учеников берет в разряд Тихон Никитич и хочет писать в драгуны без всякого разбора: и ежели побраны они будут в драгуны или солдаты, то уже совершенно трехлетний их труд погибнет напрасно, также и расход на них кормовою дачею денег. О сем благоволи мне учинить указ и чтоб они, ученики, были, как и прежде, ведомы в одной Оружейной палате, а от разрядного тасканья были свободны».

В 1703 году завелась было в Москве школа и с другим характером; основателем ее был пленный мариенбургский пастор Глюк, выучившийся еще на родине по-русски с помощью одного монаха из пограничного псковского Печерского монастыря; Глюк намерен был обучать русских юношей, «аки мягкую и всякому изображению угодную глину», географии, ифике, политике, латинской риторике с ораторскими упражнениями; философии картезианской, языкам: греческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, французскому, немецкому и латинскому, танцевальному искусству и поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейторскому обучению лошадей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке Лютеров катехизис, молитвенник, немецкую грамматику, словарь языков: русского, немецкого, латинского и французского – и Комениево введение к изучению языков. Глюк умер в 1705 году, и школа его перешла в заведование Иоанна Вернера Пауза.

Для школ и для распространения сведений между любознательными взрослыми людьми нужны были книги на русском языке, книги недорогие, распространявшиеся посредством печатания. Во время пребывания своего в Голландии Петр сблизился с семейством Тессингов, и один из троих братьев, Иван Тессинг, выпросил у царя привилегию на заведение русской типографии: «Мы, великий государь (говорится в жалованной грамоте 10 февраля 1700 г.), Ивана Тессинга пожаловали, повелели ему в городе Амстердаме печатать европейские, азиатские и американские земные и морские картины, и чертежи, и всякие печатные листы и персоны, и о земных и о морских ратных людях, математические, архитектурские и городостроительные и иные художественные книги на славянском и на голландском языке вместе, также славянским и голландским языком порознь по особну, кроме церковных славянских греческого языка книг, потому что книги церковные славянские, греческие, со исправлением всего православного устава восточные церкви, печатаются в Москве, и кроме таблиц с написанием в чертежах и в книгах Сибирскому царствию и Ногайскому владению городам и землям и рекам на славянском и на голландском языках, потому что на это дана грамота голстейнцу Елизарью Избранту. А напечатав, ему, Ивану Тессингу, в Амстердаме те чертежи, и персоны, и книги за подписью и за клеймом своим привозить в наши государства и земли, куда похочет, с нынешнего 1700 году считая, впредь 15 лет, а пошлины с продажи тех печатных листов и книг имать у города Архангельского по осьми денег с рубля, а на Москве с теми чертежами и листами являться в государственном Посольском приказе, а продавать, где похотят, повольною торговлею. И, видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу, царского величества, премногую милость и

жалованье, в печатании тех чертежей и книг показать нам службу свою и прилежное радение, чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему превысокому имени и всему Российскому нашему царствию, меж европейскими монархи к цветущей наивыящей похвале и ко общей народной пользе и прибутку и к обучению всяких художеств и ведению, а пониженья б нашего царского величества превысокой чести и государств наших славы в тех чертежах и книгах не было».

Дело не пошло успешно, как предугадывали опытные современники иностранные, которые не думали, «чтоб Тессинг что-нибудь сделал, разве захочет человек, более ученый, вмешаться в это дело и сделаться товарищем по предприятию, чего очень бы хотелось Тессингу, но трудно ему будет сыскать такого человека. Притом же москвитяне нисколько этим не интересуются: они все делают по принуждению и в угоду царю, а умри он – прощай наука!».

Гораздо заметнее была деятельность Ильи Копиевского, или Копиевича, который сначала занимался вместе с Тессингом, но потом отделился. Копиевский издал много учебников и переводов, которые на первых порах могли быть полезны русским людям, не знавшим иностранных языков. Мы привели отзыв Курбатова о русском учителе математико-навигационных школ Леонтии Магницком. Этот Магницкий в 1703 году издал книгу «Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов на славянский язык переведенная, и в едино собрана, и на две книги разделена... В богоспасаемом царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена». В 1704 году вышел в Москве «Лексикон трехязычный, сиречь речений славянских, еллиногреческих и латинских сокровище». Лексикон составлен Поликарповым, рассмотрен и дополнен Стефаном Яворским, Рафаилом Краснопольским (ректором Московской славяно-латинской академии) и братьями Лихудами.

После школ и книг третьим могущественным средством для умственного развития, для расширения умственной сферы русского человека, могущественным средством для уничтожения прежней замкнутости и застоя было сообщение сведений о том, что делается в России и в других землях. До Петра знать, что делалось у себя и в чужих странах, было привилегией правительства; извлечения из иностранных газет (куранты) составлялись для царя и немногих приближенных особ и бережно хранились, как тайна. Петр хотел, чтоб все русские люди знали, что делается на свете. 17 декабря 1702 года великий государь указал: по ведомостям о воинских и всяких делах, которые надлежат для объявления Московского и окрестных государств людям, печатать куранты, и для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать в Монастырский приказ, откуда те ведомости отсылать на Печатный двор. Указ был исполнен, и с 1703 года начали издаваться в Москве куранты под заглавием: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». На первом же листке вслед за известием, сколько вылито пушек в Москве, ведомости объявили, что «повелением его величества московские школы умножаются и сорок пять человек слушают философию и уже диалектику окончили. В Математической штурманской школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют. На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужского и женского полу 386 человек. В Китайском государстве езуитов велми не стали любить за их лукавство, и иные из них и смертью казнены. Силы козацкие под полковником Самусем ежедневно умножаются, вырубя в Немирове коменданта, с своими ратными людьми город овладели, уже намерен есть Белую Церковь добывать». В середине года уже встречаем известия из «новые крепости Петербурга». Иностранные известия о русских событиях помещались целиком без всяких примечаний.

Не забыто было и четвертое средство для народного развития. Как до Петра куранты составлялись только для царского употребления, так и сценические представления давались только для потехи великого государя: Петр и то и другое ввел в народное употребление. Как

при царе Алексее Михайловиче тешили великого государя немцы, у которых начальником был Яган Годфрид, так и при Петре в 1701 году комедиант Иван Сплавский отправлен был за границу и вывез в Москву Ягана Куншта с труппою его актеров; Куншт скоро умер, и на его месте видим Артемия Фюрста. Как при царе Алексее Михайловиче брали подьячих и отсылали к магистру Ягану Годфриду для научения комедийного дела, так и теперь, в 1702 году, набрали подьячих из разных приказов и отдали Куншту, который обязался «их всяким комедиям учить с добрым радением и со всяким откровением». Но разница между временем царя Алексея и временем царя Петра состояла в том, что при Петре построена была деревянная комедиальная хранилища на Красной площади – для всех. Играли о крепости Грубстона, в ней же первая персона Александр Македонский; Сципий африканский – погубление королевы Софонизбы; о графине триерской Геновеве; два завоеванные города, в ней же первая персона Юлий Кесарь; порода Геркулесова, в ней же первая персона Юпитера; о Баязете и Тамерлане; доктор принужденный (*Le Medicin malgre lui* – Мольера); играли пьесы, нарочно составленные по случаю какого-нибудь важного события, торжества, например в 1703 году по случаю взятия Орешка. Кроме этого всенародного театра театральные представления давались еще учениками Славяно-латинской академии (новосияющих славяно-латинских Афин); здесь пьесы имеют религиозное содержание, но к этому содержанию примешиваются политические намеки, например, в комедии о втором пришествии господнем является королевство Польское, укоряющее сенаторов лядских о гибели многих стран ради самовольного и гордынного несогласия и распри междоусобные.

Все это: и школы, и книги, и ведомости, и театр – представляло начатки, слабые, грубые. Старые нравы общества, которое начало преобразовываться, отражались повсюду, ученики школ вели себя как нельзя хуже, актеры из русских подьячих бесчинствовали. Иностранные медики сталкивались с музыкантами. Доктор Бидлоо писал Головину: «Изволил ваша шляхетность по милости своей ко мне, иностранцу, немалое почтение явить, чего я не достоин; по этой милости придан мне был толмач, без которого я не могу никакого повеления вашего выразуметь и исполнить; теперь дьяки отняли у меня этого толмача, и велено ему быть у музыкантов. Бывши в приказе, я говорил дьякам, что невозможно мне без толмача быть. Они отвечали, чтоб я другого толмача сыскал, как и другие доктора своих держат: по их выходит, что музыканты исправляют дело его величества, а я только свое. Прошу ваше превосходительство, чтоб как прежде, так и теперь я сравнения с музыкантами не имел». А учителя-иностранцы? Между ними и русскими не обошлось без частых столкновений, и самое замечательное из них происходило наверху при воспитании государя царевича. Сначала Петр хотел отправить сына за границу для воспитания, но потом отменил это намерение. В 1701 году к царевичу был определен для наставления «в науках и нравовании» немец Нейгебауер, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендованный саксонским посланником генералом Карловичем. Между этим-то иностранным наставником и русскими, находившимися при царевиче, и произошло столкновение. Нейгебауеру хотелось иметь большее значение, чем какое давали ему при дворе царевича; он был также недоволен людьми, окружавшими молодого Алексея, и писал Петру: «Понеже с три года тому назад как я приехал сюда с генерал-майором Карловичем вашему царскому величеству у вашего пресветлейшего царевича служить за гофмейстера, и уже с шесть месяцев совершенно к тому приставлен есмь, и того ради прошу покорнейше, дабы мне дана была, по нашему обычаю, полная мочь в придворных чиновных людях, яко гофмейстеру принадлежит со указом, дабы прочие служители меня по достоинству чтили и мне послушны были, понеже, если всякой из них делать будет что хочет, то невозможно царевича изрядных нравов учения и порядочного жития научить, зане некоторые от злости, а иные от глупости все мои труды портить будут; сего ради желал бы, дабы учитель Микифор Кондратьевич (Вяземский) и прочие кавалеры иными чинами пожалованы были, а вместо оных дабы некоторые иные к услужению государю царевичу даны были, которые в наших землях были и

наших обычаев и языков научены суть. Надобно бы по последней мере царевичу имети комнатного слугу, да еще одного пажа, зане царевич велми мало имеет служителей и почитай что и никаких услуг». Царь не исполнил желаний Нейгебауера, и тот в 1702 году жаловался Федору Матвеевичу Апраксину: «Обретаю столько гонения, что не возмогу претерпеть, понеже: 1) не хотят мне чина гофмейстера оставить, для которого меня Карлович сюда вывез, и в рассуждении того я изрядную бранденбургскую службу уничижил, а между тем я наставления царевича в науках и нравоучениях имею, еже конечно дело гофмистрово есть, и сверх того сей чин не дядька, но только против поддядьки, понеже первый чин именуется у нас верховный гофмистер, который здесь его превосходительство А. Д. Меншиков имеет. 2) Сочиняют наши служители царевича мне противна и живут по своему старому непристойному злочинию, и того ради невозможно, чтоб царевич когда к изрядным нравам обыкнуть возмог. 3) Никто не понимает при дворе царевичеве, како такого великого государя возвращати надлежит, а однако ж не имеют они указу меня в том слушать и то мне и в глаза говорят и, сверх того, бесчестно меня пресмегают: га, га! смотри, ты хочешь еще гофмистром быть. 4) Гонят они меня ради веры моей и не хотят по постным дням мяса давать, но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня царскому величеству оклеветали, будто я по две недели сидя пью и весма к царевичу не хожу».

Долго накоплявшаяся вражда наконец разразилась 23 мая 1702 года. Государю донесли, что этого числа «государя царевича за столом Мартын Мартынович Небоуер всем говорил, чтоб тайных слов никто никаких не говорил, а Никифор Вяземский говорил: „Что тайно, то тайно, а что явно, то явно. И он, Мартын, говорил: вы-де все ничего не знаете, и быть вам здесь недостойт, я-де вас вытолкаю толчком, а как-де я буду с царевичем за морем, я-де знаю, что делать“. И он, Никифор, говорил: „Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б нас без указу государя нашего и приказу Александра Даниловича отсюда вон не толкал, в сем я тебя не слушаю, потому что мы приказаны Александру Даниловичу, а не тебе“. И он, Мартын, говорил: „Вы-де все ничего не знаете, и у вас-де все варвары!“ – и бранил: „Собаки! собаки! гундсфоты!“, и пред царевича бросал ножик и вилку, и держал за шпагу, и он, Никифор, говорил: „Что ты делаешь? Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б так не бросал за столом и не бранился“. И он, Мартын, закричал: „А будет я не гофмейстер, и я не хочу жив быть“ – и, побежав, бранил: „Собаки, собаки! я вам сделаю, как бог мой жив, так я вам отомщу“. При государе царевиче за столом сидели в то время он, Мартын, подле него доктор Богдан Клем, по другую сторону сидели Алексей Ив. Нарышкин, Никифор Вяземский; при столе стояли толмач да сторож».

Спросили иностранца доктора Клема, и тот показал: «Во время того стола, как принесли на стол жаркие куры, которые тот иноземец, разрушив, положил на блюде, и государь царевич изволил взять от той ествы сперва одну куречью ножку и, покушав несколько, положил на тарелку и хотел взять еще иную часть. И Алексей Ив. Нарышкин говорил, чтоб он, царевич, те части, которые кушал, для очистки тарелки положил на то ж блюдо. О сем услыша, Мартын говорил, что царевич лучше, нежели он, в том знает, понеже необыкновенно объеденные кости на блюдо класть, а мечут собакам. Потом царевич изволил нечто молвить Алексею Ивановичу тайно на ухо, а Алексей Ив., измешкав немного, также молвил тайно на ухо учителю Микифору, а Мартын говорил: „Непристойно за столом друг другу на ухо говорить при иных людях“». Брань с Вяземским Клем описал согласно с первоначальным донесением: «И называл он, Мартын, их мужиками, свиньями и собаками, и, идучи, у дверей говорил с криком: „Добро, собаки, я вам заплачу“».

Царь указал – отказать Нейгебауеру от службы и ехать без отпуска, куда похочет, за то, что писался самовольно гофмейстером и ближних людей называл варварами и бранил всякою жестокою бранью.

Нейгебауер сдержал слово, отомстил. В 1704 году он издал в Германии брошюру под заглавием: «Письмо одного знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого

владельца о дурном обращении с иноземными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в службу». Нейгебауер объявлял, что царь и его приближенные обращаются с честнейшими и храбрейшими офицерами, как со щенками, употребляют пощечины, палки, кнут и т.п. Полковник Бодевин потерял голову за то, что его слуга заколол фельдшера, царского любимца; полковника Штрасберга городской воевода бил батогами за то только, что тот не хотел слушаться царского указа; майора Кирхена сам царь публично обругал непристойною бранью и плюнул ему в лицо за то, что тот, прослужив целый год майором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому; по смерти Лефорта, любимца царского, конфисковано было все его имение, и наследники не получили ничего, только должны были платить долги покойного. Нейгебауер не довольствовался этою брошюрою, но обещал издать подробное описание нравов русского народа, его обманов, идолопоклонства, наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, ненависти к иностранцам, неспособности, лени, волшебства, неверности, похищения немецких жен и детей; особенно обещал распространиться о подвигах царского любимца Меншикова с немками, которых потом навязывают немецким офицерам.

Осенью 1704 года Матвеев писал из Гаги: «В сих числах прибыли в Гагу от Архангельского города с голландскими кораблями два человека – француз Деверсал с немчином – и здесь таких злословий и бесчестий скаредных всенародно о государстве государя нашего и о правительстве вельмож московских в бытность прусского принца и арцуха (герцога) Малбурга при всех везде собраниях и ходя по кофейным домам наполнили, каких бы ни самый дьявол воплощенный не вымыслил, и явственно сказывали, что кто из иноземцев в службу московскую не придет, должен подписать себя отдать в вечное московское рабство, и их выпустили за Великие дачи с Москвы насилию. И всем офицерам здесь и кавалерам сказывали, что и у самых турок такого непорядку и озлобления людям нет и чтоб никто службы московской впредь не принимал. Эти люди одной компании некоторого генерала Коромбеса и учителя, бывшего прежде у государя царевича». Этот генерал Коромбес был генерал фон Корренберг, о котором Нейгебауер рассказывает в своей брошюре, что он приехал в Россию в 1703 году и привез с собою восемь офицеров, потратив много своих денег. Царь сделал его генерал-лейтенантом, но спустя два месяца велел наказать его в собственной палатке, за что – этого Нейгебауер не говорит. Брошюра Нейгебауера не была первым сочинением, направленным против петровской России. По донесению Матвеева от 5 июня 1702 года, какой-то профессор во Франкфурте-на-Одере напечатал похвальную речь прусскому королю, где прославлял триумф шведов над московскими войсками и толковал, что христианские государи не должны пропускать русских кораблей на море, ибо если русские овладеют Ливониею, то овладеют также Польшею и Литвою и будут опасны Пруссии.

В Пруссии и Саксонии были запрещены сочинения, оскорбительные для царя и России, но Петр этим не довольствовался. До сих пор почти все сочинения, выходившие в Западной Европе о России, больше или меньше были похожи на брошюру Нейгебауера; Россия была ославлена как страна варварская. Желая ввести Россию в семью европейских держав, дать ей здесь важное значение, Петр, разумеется, хотел очистить ее от прежнего пятна варварства, хотел, чтоб в Европе говорили только об этом очищении, видели в России страну уже не варварскую более, но очищенную, преобразованную; понятно желание Петра слыть преобразователем, а не царем варварского народа и не варваром. Наконец, Петр нуждался в искусных иностранцах, а дурные слухи о России будут отвращать их от вступления в царскую службу. Мы видели, что, давая Тессингу привилегию на заведение русской типографии, Петр требовал, чтобы в книгах, которые будут выходить из этой типографии, не говорилось ничего предосудительного о России. В 1702 году Паткуль подговорил в русскую службу доктора прав Генриха фон Гюйсена, который обязался: 1) отыскивать, входить в переговоры и приглашать в русскую службу иностранных офицеров, инженеров, мануфактуристов, ружейников, художников, берейторов, кузнецов и других мастеровых, особенно же таких, которые бы понимали по-поль-

ски или по-чешски; 2) переводить, печатать и распространять царские постановления, издаваемые для устройства военной части в России; 3) склонять голландских, германских и других стран ученых, чтоб они посвящали царю, или членам его семейства, или, наконец, царским министрам замечательные из своих произведений, преимущественно касающиеся истории, политики и механики; также чтоб эти ученые писали статьи к прославлению России; 4) войти в переговоры с почтмейстерами разных государств о правильной рассылке русских писем. В 1703 году Гюйсен получил место Нейгебауера при царевиче, но пробыл на нем недолго: в 1705 царь велел ему ехать в Германию «с подлинными комиссиями». Здесь-то он вступил в полемику с Нейгебауером в защиту России.

Мы скажем, в свое время, несколько слов об этой полемике; а теперь взглянем на те распоряжения Петра, которыми действительно смывалось пятно варварства с русского народа. В древней России сохранялся еще тот дохристианский взгляд на человека, по которому можно было убивать младенцев, родившихся с физическими недостатками; в январе 1704 года сказан великого государя указ под смертною казнию, чтоб повивальные бабки младенцев, которые родятся особым некаким видом, или несущественным образом, или каким чудом, не убивали и не таили, а объявляли про них тех приходов священникам, а священники ж про то объявляли в Монастырском приказе. Тут же запрещено хоронить мертвых ранее трех дней. В начале 1700 года бояре слушали такое дело: взят был боярина Петра Петровича Салтыкова человек Алексей Каменский за то, что он боярина лечил, принашивал лекарства и от лекарств боярин умер скорою смертью. В расспросе и с пытки лекарь сказал, что он боярина лечил и лекарства всякие, покупая в зелейном ряду в лавках, давал, и боярин говорил ему, чтоб он принес ему лекарства от сна, и он, Алешка, в зелейном ряду купил арьяну на три деньги осьмую долю золотника, рознял на 12 доль и давал боярину от сна, а не для отравы. Зелейного ряду сиделец Ганка Варфоломеев в продаже того арьяну не запирался и сказал, что он Алешке продал арьяну на четыре деньги и велел давать мочному человеку против трех зерен конопляных, а немочному против двух и на другой день поутру пришел к нему, Ганке, Алешка и сказал, что лекарство отдал он боярскому малому, и тот малый отдал боярину все, и боярин с того числа по се время не проспится, только в ночи простонал. Бояре велели справиться, какие прежде были подобные дела и какие указы? Нашли, что в 1686 году лекаря Туленщикова велено сослать в Курск за то, что он лекарю Харитонову вместо раковых глаз отвесил в пьянстве золотник сулемы, Харитонов дал ту сулему подъячому Прокофьеву, и подъячий при нем умер; по этому случаю сказан был тогда указ всем лекарям: кто нарочно или ненарочно кого уморит, того казнить смертью. Но в 1700 году не привели в исполнение указа 1686 года, не казнили Каменского смертью, сослали в Азов на каторгу, а для предупреждения подобных случаев в том же году велено завести в Москве восемь аптек с тем, чтоб в них никаких вин не продавалось; аптеки эти с докторами и аптекарями, и лекарями, и с иными чинами во всяких делах ведать в Посольском приказе, а, кроме того, в Москве впредь другим аптекам, и зелейному ряду, и лавкам по улицам и перекресткам, где продавали всякие непотребные травы и зелья вместо лекарств, не быть.

Запретили продавать травы, вредные в руках старинных знахарей; запретили продавать остроконечные ножи, вредные в руках людей, еще младенцев по общественной неразвитости. В том же 1700 году государь указал: на Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою, в день и в ночь и ни в какое время, не носить, для того, что многие люди в дорогах на съездах, и на сходах, и в домах, в ссорах, и драках, и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти, а воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам и людей режут и грабят, и со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать и не держать и никому не продавать, а ослушников бить кнутом и ссылать в ссылку. Через год понадобился указ против дуэлей между иноземцами: в январе 1702 года им запрещено выходить на поединки и даже вынимать оружие: за первое назначена смертная казнь, за вто-

рое – отсечение руки. Война правительства с разбойниками велась по-прежнему. В 1702 году капитан Рагульский с целою ротою отправлен был в Костромской и Галицкий уезды для сыску разбойников и успел схватить знаменитых разбойников – помещиков Захара Полозова, Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ивана Сологубова, Никиту Жданова, Василия Полозова-Кулю, Ивана и Данилу Захаровых, Семена да Петра Шишкиных. Разбойничали они с своими людьми, нападали на деревни, убивали мужчин, насиловали женщин, огнем жгли.

Охраняя жизнь русского человека от вредного зелья, от остроконечного ножа, Петр принял меры и против огня, так свирепствовавшего в деревянных городах, не исключая и царствующего града. Виниус в апреле 1700 года писал Петру из Москвы: «Здесь Вулканус нас так тревожит и многих разоряет, и не только с самые Пасхи по вся дни, но во единые сутки пожара по три и по четыре, а третьего дня было шесть пожаров: повели уставами добрыми для предварения такого всегубителя забежать, как бы от такого разорения впредь людям спастись, а старый князь Иван Борисович (Прозоровский) и прочие начальные, бегаючи, из силы выбились». Виниус предлагал исподволь делать черепичные кровли вместо тесовых; начали выписывать заливные трубы из-за границы чрез Витзена; в январе 1704 года издан указ о строении в Москве, в Кремле и Китае-городе, каменных домов, о расположении их подле улиц и переулков, а не внутри дворов и о продаже дворовых мест, которых владельцы не в состоянии выстроить каменного дома.

Но одними средствами охранения жизни и имущества преобразование не ограничивалось. На русских нравах лежало пятно, которое бросалось в глаза и чужим, и своим, – это неправильность при заключении брачных союзов, имевшая такое вредное влияние на семейную жизнь, на семейную нравственность. Мы видели, что в 1693 году патриарх Адриан свидетельствовал, что брак заключается без согласия вступающих в брак, отчего «житие их бывает бедно, другу другу наветно и детей бесприжитно». Патриарх не мог представить действительных средств против зла. Петр нашел это средство, уничтожив затворничество женщин, приказывая приглашать их вместе с мужчинами на обеды и вечера. В апреле 1702 года издан указ: «Рядовые сговорные записи отставить и впредь их в приказе Крепостных дел не писать, а вместо того приданому писать росписи за руками, а заряду (платежа за неустойку) никакого в тех росписях не писать. А буде кто дочь, или сестру, или какую свойственницу, или девица, или сама вдова сговорит замуж за кого, и прежде венчания обручению быть за шесть недель, и буде обручатся, а после сговору и обрученья жених невесты взять не похочет или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть свободе, по правильному св. отец рассуждению. А которая невеста выйдет замуж и умрет бездетна: и после смерти ее, приданого ее, кроме вотчин и поместий и дворов, назад ничего не возвращать». 30 декабря 1701 года запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колена, зимою снимать шапки перед дворцом. Петр говорил: «Какое же различие между бога и царя, когда воздавать будут равное обоим почтение? Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна царю».

Важные преобразования в первое пятилетие нового века коснулись духовенства. Мы уже видели, в каком положении находилось русское духовенство при повороте России на новый путь, повороте, начавшемся до Петра, истекавшем из всего предшествовавшего хода истории. Недовольство этим положением было высказано громко и резко и в приговорах соборных, и в указах, направленных против разных злоупотреблений и нравственных беспорядков, но этим протестом все и окончилось; самостоятельного движения к исправлению сознанного зла не обнаружилось. Сознав зло и при этом не обнаружив силы, достаточной для его искоренения, духовенство необходимо отрекалось от права на это искоренение в пользу другой силы. Несостоятельность духовенства преимущественно происходила от недостатка просвещения, жажду которого так ясно выразило русское общество в конце XVII века. Общество имело право требовать, чтоб духовенство, учительное сословие, взяло на себя почин в этом деле и руководило

других, но и это требование осталось неудовлетворенным. Учреждена была в Москве Академия, вверенная надзору духовенства, прямо направленная к поддержанию церкви, но духовенство не воспользовалось ею. Петр говорил патриарху Адриану: «Священники ставятся малограмотные: надобно их сперва научать таинствам и потом уже ставить в тот чин; для этого надобно человека, и не одного, кому это делать, и определить место, где быть тому. Надобно промыслить, чтоб и православные христиане, и зловерцы – татары, мордва, черемисы и другие – познали господина и закон его: для того послать бы хотя несколько десятков человек в Киев в школы. И здесь есть школа, можно бы и здесь было об этом деле порадовать, но мало учатся, потому что никто не смотрит за школою как надобно; нужен для этого человек знатный чином, именем, богатый, и нет его. Евангельское учение – вот знание божеское, больше всего в жизни сей нужное людям. Многие желают детей своих учить свободным наукам и отдают их здесь иноземцам; другие же в домах своих держат учителей-иностранцев, которые на славянском нашем языке не умеют правильно говорить, кроме того, иноверцы и малых детей ересям своим учат; отчего детям вред и церкви нашей святой может быть ущерб великий, а языку нашему от неискусства повреждение, тогда как в нашей бы школе, при знатном и искусном обучении, всякому добру учились».

В октябре 1700 года умер патриарх Адриан. Вслед за известием об этом событии Петр, находившийся в то время под Нарвою, получил письмо от Курбатова: «Больному патриарху трудно было смотреть за всем, от чего происходили беспорядки по духовному управлению. Избранием архимандритов и других освященного чина людей заведовал архиерей, который, как известно, сам собою править не может: где же ему избирать? Избранием патриарха думаю повременить. Определение в священный чин можно поручить хорошему архиерею с пятью учеными монахами. Для надзора же за всем и для сбора домового казны надобно непременно назначить человека надежного: там большие беспорядки; необходимо распорядиться монастырскими и архиерейскими имениями, учредить особый распорядительный приказ для сбора и хранения казны, которая теперь погибает по прихотям владельцев. Школа, бывшая под надзором патриарха и под управлением монаха Палладия, в расстройстве; ученики, числом 150 человек, очень недовольны, терпят во всем крайний недостаток и не могут учиться; потолки и печи обвалились. Мог бы я и о другом о многом донести, да очень боюсь врагов. Из архиереев для временного управления, думаю, хорош будет холмогорский (Афанасий); из мирских для смотрения за казною и сбора ее очень хорош боярин Ив. Алексеевич Мусин-Пушкин или стольник Дм. Петр. Протасьев».

Мысль Курбатова отложить избрание патриарха не могла не понравиться Петру, если только эта мысль не была уже прежде у Петра. Враги преобразований постоянно вооружались против них во имя религии, древнего благочестия, которому изменял царь, друг еретиков, немцев; было известно, что духовенство смотрело очень неблагоприятно на нововведения и на новых учителей; патриарх Иоаким вооружался против приема иностранцев в русскую службу, патриарх Адриан писал сильные выходки против бородобрития, и когда замолк, увидав, что сам царь ввел бородобритие, то навлек от ревнителей старины жестокие на себя укоры: «Какой он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии да клобука белого, затем и не обличает». Адриан по характеру своему снес заслуженные непослуживостью укоризны; от него Петр не мог ожидать противодействия своим планам, но мог ли он быть уверен в его преемнике? Для поправления расстроенных при Адриане дел патриаршего управления нужно было избрать человека энергического, но энергический человек будет ли употреблять свою энергию всегда согласно с видами царя-преобразователя? Где найти такого архиерея, который бы вполне сочувствовал преобразованиям? А если нет, то патриарх, по своему значению, будет необходимо нравственною опорой недовольных; царь в постоянном отсутствии из Москвы; без царя патриарх на первом плане, и если этот патриарх не сочувствует царю, которым многие недовольны? С Никоном легко было справиться и царю Алексею Михайловичу, потому

что Никон губил сам себя, но при Петре патриарх сколько-нибудь энергический в челе многих недовольных преобразованиями был гораздо опаснее Никона. Благоразумно ли было к сильной борьбе внешней и внутренней присоединять возможность борьбы с патриархом, которая, и окончившись счастливо для царя, во всяком случае дала бы ему печальное значение гонителя, а жертва получила бы для многих и многих значение св. мученика? Сохранилось известие, что английским купцам, изъявлявшим опасение, не будет ли патриарх сопротивляться табачной продаже, Петр сказал: «Не опасайтесь: я дал об этом указ и постараюсь, чтоб патриарх в табачные дела не мешался: он при мне блюститель только веры, а не таможенный надзиратель». Но пример Иоакима и Адриана мог ли дать Петру ручательство, что преемник их сможет с точностью определить свои обязанности как блюстителя веры только? Петр, приступая к упразднению ненужного для русской церкви сана патриаршеского, стремился дать ей настоящее могущество, просвещение, но ввести просвещение между великороссийским духовенством, заботиться о школах, направлять и развивать их могли только ученые архиереи, а где было взять их? Дать общее сильное движение образованию между духовенством в целой России, заботиться о главной школе в Москве мог только патриарх ученый, а где было взять такого? Петру оставалось одно средство – назначать на архиерейские места в Великой России ученых монахов малороссийских, но поставить патриарха из Малороссии было неудобно при тогдашних отношениях между великою и Малою Россиею. Наконец, считалось необходимым приступить к решительным мерам для исправления нравственности духовенства, преимущественно черного; считалось необходимым сделать более правильное употребление материальных средств черного духовенства; хотели сделать все это без помешки, избрание патриарха было отложено. Мы не считаем себя вправе думать, что мысль о совершенном уничтожении патриаршества уже созрела в Петре в 1700 году; всего вероятнее, что она достигла той зрелости с течением времени, когда от отсутствия патриарха не чувствовалось никакого неудобства, когда коллегиальная форма признана была лучшею по всем частям управления, когда, наконец, дело царевича Алексея возбудило в душе Петра сильные сомнения насчет сочувствия большинства высшего духовенства к новому порядку.

16 декабря 1700 года состоялся именной указ: Патриаршему приказу разряду не быть, а дела по челобитьям мирских людей на духовных и духовных на мирских отослать по приказам, где кто ведом; дела же о расколе и ересь ведать преосвященному Стефану, митрополиту рязанскому и муромскому. Митрополит Стефан (Яворский) назывался с тех пор «екзархом святейшего патриаршеского престола, блюстителем и администратором». Причина назначения малороссиянина Яворского предпочтительно пред Афанасием холмогорским, очевидно, заключалась в учености Яворского. Последний приехал в Москву в начале 1700 года в сане игумна Никольского пустынного монастыря; киевский митрополит Варлаам Ясинский прислал его вместе с игумном Златоверхого Михайловского монастыря Захарием Корниловичем к патриарху Адриану, прося посвятить одного из них на вновь учрежденную епархию Переяславскую (Переяславля южного). Но Петр нашел в Стефане человека, какой ему был нужен в Великой России, и потому он велел патриарху поставить его в архиереи на одну из ближайших к Москве епархий. В марте же очистилось место митрополита рязанского, и Адриан объявил Яворскому, чтоб готовился к посвящению. Тот стал просить, чтоб прежде позволили побывать ему в Киеве; патриарх не согласился и назначил 16 марта для посвящения. Утром в назначенный день архиереи и другие духовные лица собрались, по обычаю, в Крестовую палату к патриарху; послали на Малороссийское подворье за Стефаном: посланник возвратился с ответом, что игумна нет на подворье, уехал в Донской монастырь. Послали туда, Яворский не едет, а между тем уже часа с два в Кремле шел благовест; в другой раз послали в Донской монастырь взять упрямого игумна: Стефан отрекся решительно, что не поедет, не хочет быть архиереем. Патриарх рассердился, не велел пускать Стефана из монастыря и дал знать царю. Тот велел спросить у Стефана, что за причина такого поступка? Стефан написал: «Вины,

для которых я ушел от посвящения: 1) писал ко мне преосвященный митрополит киевский, чтоб я возвращался в Киев и его во время старости не оставлял при его немощах и недугах; 2) епархия Рязанская, на которую меня хотели посвятить, имеет еще в живых своего архиерея, а правила св. отец не повелевают живу сущу архиерею, иному касаться епархии – духовное прелюбодеяние! 3) изощренный завистию язык многие досады и поклепы на меня говорил: иные рекли, будто я купил себе архиерейство за 3000 червонных золотых; иные именовали меня еретиком, ляшенком, обливаником; 4) не дано мне сроку, чтоб я мог приготовиться на такую высокую архиерейства степень очищением совести своея чтением книг богодухновенных». Это любопытное объяснение показывает, как смотрели в Москве на ученых малороссийских монахов, поставляемых на великороссийские епархии: некоторые (вероятно, те, которые сами хотели быть архиереями) не щадили для них названий еретика, ляшенка (полячишка). Но Петр, которого самого называли еретиком и антихристом, не обращал внимания на то, что говорили изощренные завистию языки: Стефан был поставлен митрополитом на Рязань и в том же году, как мы видели, был переведен в Москву.

За назначением Яворского блюстителем патриаршего престола немедленно последовали преобразования. В январе 1701 года указано ведать дом св. патриарха, дома архиерейские и монастырские дела боярину Ив. Алекс. Мусину-Пушкину; сидеть на патриарше дворе в палатах, где был Патриарший разряд, и писать *Монастырским приказом*. Все челобитные на духовных лиц, монастырских стряпчих, слуг и крестьян должны подаваться в Монастырский приказ, а челобитные духовных лиц, монастырских приказчиков, слуг и крестьян на разных чинов людей подаются в приказах, где кто судим. Монастырский приказ должен был переписать все монастыри, мужские и женские; сколько монахов и монахинь переписчики застанут в каких монастырях, тем и оставаться в своих монастырях неисходно, в другие монастыри их не принимать; разве по какой-нибудь важной законной причине монах может перейти в другой монастырь, и то с отпускным письмом от начальника прежнего монастыря. Мирские люди в монастырях жить не должны, чтецы и певцы должны быть монахи, дьячков-немонахов переписчики должны выгнать вон. Монахи в кельях наедине не должны ничего писать, чернил и бумаги не держать, писать должны в трапезе, в определенном месте, с позволения начальника, по преданию древних отец. В 1703 году для женских монастырей было подтверждено: из монастыря монахиням быть неисходными; если будет великая нужда выйти, то отпускать на малое время, часа на два и на три, с письмом и за печатью, писать, именно для какой нужды и на сколько времени отпущена, и за письмо и за печать отнюдь взяток не брать; монахини могут писать только в трапезе; постригать белиц должно не раньше 40 лет; ворота в монастыре должны быть всегда закрыты, подле ворот должны стоять караульные; миряне входят только во время церковной службы, а в другое время могут входить не иначе, как с позволения игуменьи. Ни в мужских, ни в женских монастырях нельзя было никого постричь вновь без царского указа. Эти распоряжения объяснялись целым рядом жалоб предшествовавшего времени на ослабление нравственности в монастырях, на кочевую жизнь монахов и монахинь, производящих соблазн своим поведением; оправдывались и делами нового Монастырского приказа. В 1701 году у монаха были взяты воровские письма (приворотные к женскому полу): по Уложению, его сожгли в срубе; в 1702 году пьяный монах убил другого до смерти: оказалось, что убийца был беглый крестьянин, постриженный без справки.

В том же 1701 году приступили и к хозяйственным переменам. В архиерейских и монастырских вотчинах веено дать новый торг на все оброчные статьи, которые отданы были на оброк до урочных лет, и если новые откупщики станут давать больше старых, то им и отдавать статьи, не дожидаясь истечения урочных лет для прежних откупщиков. Посольские старцы в вотчинах отставлены; вместо них определены приказчики из мирян. Грекам, армянам, индейцам запрещено было останавливаться в монастырях как в гостиницах. Наконец, в декабре 1701 года был издан знаменитый указ: в монастыри монахам и монахиням давать определенное

число денег и хлеба в общежительство их, а вотчинами им и никакими угождями не владеть, не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения монашеского обещания, потому что древние монахи сами себе трудолюбными своими руками пищу промышляли и общежительно жили и многих нищих от своих рук питали; нынешние же монахи не только нищих не питают от трудов своих, но сами чужие труды поедают, а начальные монахи во многие роскоши впали и подначальных монахов в скудную пищу ввели; кроме того, от вотчин ссоры и убийства и обиды многие. По этим причинам великий государь указал давать поровну как начальным, так и подначальным монахам, по 10 рублей денег, по 10 четвертей хлеба и дров, сколько им надобно, а собирать с вотчин их всякие доходы в Монастырский приказ. Слуг и служебников в монастырях оставить самое малое число, без которых обойтись нельзя. Что остается хлеба и денег от раздачи монахам, из этого остатка давать на пропитание нищих в богадельни и в бедные монастыри, у которых нет вотчин.

Белое духовенство получило новую обязанность: доставлять в Монастырский приказ ведомости о числе родившихся и умерших: за 1703 год была подана первая ведомость в Москве священниками всех шести сороков приходских церквей. Оказалось, что число смертных слу-чаев с лишком двумя тысячами превышает число рождений.

Назначивши блюстителем патриаршего престола ученого малороссиянина, Петр поручил ему поднять Московскую академию. Стефан Яворский, назвавшись *протектором Академии*, оправдал доверенность Петра, восстановил Академию, но при нем она явилась уже с другим характером относительно преподавания. В первое время по ее основании, при Лихудах, в ней господствовал греческий элемент; Стефан Яворский, воспитанник Киевской академии и окончивший свое образование за границею, ввел в нее элемент латинский, который стал надолго господствующим. При Лихудах руководства, ими составленные, были на греческом языке; теперь преподаватели являются преимущественно из Киева, и, по обычаю тамошней Академии, преподают на латинском языке, сочинения пишутся на нем же, и Московская академия получает название латинских или славяно-латинских школ. Чувствовали потребность и в греческом языке, но чувствовали отвращение от греков, отвращение, которое не могло уменьшиться после знакомства с Лихудами. Нам уже известно поведение сына Иоанникия Лихуда, Николая; этот Николай дурно кончил в описываемое время: 20 апреля 1705 года великий государь указал: князь Николаю Лихудеву, учиня ему наказание бить плетью, сослать в ссылку в сибирские в дальние города в службу, в какую годится, за то, что он в Преображенский приказ привел с ложным изветом грека игумена Венедикта на грека Ивана Бочю. Матвеев рекомендовал Головину греческого священника Серафима и по письму боярина отправил его в Москву. Любопытно письмо Матвеева Головину по этому случаю (февраль 1704 года): «Гречанина священника Серафима по вашему письму, дав ему на проезд денег, на вешних кораблях отправлю к Москве, потому что он, здесь и в Англии многовременно жив, в изрядных порядках означился, и в Англии многих своими трудами к греческому святому благочестию привел, и довольные книги на греческом языке выдал, также философии и богословии сильное искусство имеет. Греческого, турецкого, латинского, французского и английского языков совершенно сводом. Может такой человек надобный не только для дел турецких впредь, и для свободных наук учения в государстве великого государя всегда употребительным быть, а нрав и поведение его от природы бездельной греческой гораздо разнится, мню, больше для того, что он уже долголетно в сих краях европейских жил». Но и Серафим не получил места ни в Академии, ни в школе, основанной Глюком. За преобразование Академии сильно рассердился на Стефана иерусалимский патриарх Досифей. Напрасно Яворский писал ему, уверяя в своем православии; Досифей отвечал: «Несправедливо пишешь, что ты поборник восточной церкви, потому что, прохладаясь на одном обеде, где были и некоторые греки, ты опорочил восточную церковь насчет совершения таинства Евхаристии. И ныне, находясь в Москве, ты стер вконец еллинское училище и только о латинских школах заботишься. По нашему мнению, не

может быть московский патриарх из греков, потому что лучшие греки хотят разделять страдания своего народа, а те, которые волочатся туда и сюда, особенно по России, хотя, быть может, и честные люди, но по образованию своему настоящие мужики. Не может быть патриарх из малороссиян или белорусов, потому что они, имея сношения с латинами, принимают многие нравы их и догматы. За примерами не нужно далеко ходить, довольно тебя, который, отправившись в латинские земли для снискания мудрости, принес хульные списания в дар воспитавшей и почтившей тебя восточной церкви. Зачем ты опасаешься обличать тех, которые приносят смущение в царствующий град (т.е. иностранцев)? Св. патриарх Иоаким, видя смущение церкви, с велим тщанием искоренял их, а ты молчишь!»

В Москве не хотели выдавать Яворского патриарху и отмалчивались; Досифей сердился. Переводчик Спафарий писал Головину в 1704 году: «Святейший ныне зело гневен на меня за то, будто мы умаляем его честь и бережем рязанского, а его письма небрежем. Я природу его ведаю из молодых лет: запальчивый таков, что и в алтаре никому не спустит. Отпиши к нему, потому что он вашей милости в письме пеняет, что ни малой отповеди от вельможности вашей не получил; он любит частую корреспонденцию и еще мнит и то, что не все переводим, о чем он пишет: как греки-воры его информовали ложно, а он верит, в том легкий, кто что скажет, и верит. И того ради на всякую статейку учини ему отповедь, и так утолится гнев его: он ярливый, но скоро уходливый по природе».

В том же 1700 году, когда Стефан Яворский был неволею поставлен в митрополиты рязанские, Петр поручил киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому «поискать из архимандритов и игумнов или других иноков доброго и ученого и благого непорочного жития, которому бы в Тобольску быть митрополитом и мог бы божиею милостию исподоволь в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения и других невежествах закоснелых человек приводить в познание и служение и поклонение истинного живого бога». Требуемыми достоинствами обладал игумен Новгородо-Северского монастыря Димитрий, знаменитый составлением Четых-Миней. Димитрий был прислан в Москву и весной 1701 года посвящен в митрополиты сибирские, но и это назначение было не вольное; Димитрий заболел с горя; Петр умел войти в положение человека, которого отрывают от любимого ученого занятия и посылают в Сибирь, Сибирь начала XVIII века! Царь позволил остаться Димитрию в Москве, и в 1702 году он получил место ростовского митрополита. Димитрий нашел свою епархию в печальном положении, в каком находились тогда все епархии великороссийские и из которого хотел извлечь их Петр посредством образованных архиереев. Духовенство было невежественное, учить своих духовных детей не могло, и духовные дети тем легче увлекались проповедью какого-нибудь раскольничьего старца, который кричал против духовенства, отступившего от правой старой веры. «Окаянное наше время! – говорил Димитрий в одной из своих проповедей. – Окаянное время, в которое так пренебреженно сеяние слова божия, и не знаю, кого прежде надобно винить, сеятелей или землю, священников или сердца человеческие или тех и других вместе? Сеятель не сеет, а земля не принимает, иереи не брегут, а люди заблуждаются; иереи не учат, а люди невежествуют; иереи слова божия не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. С обеих сторон худо: иереи глупы, а люди неразумны. Иерейские жены и дети многие никогда не причащаются; иерейские сыновья приходят ставиться на отцовские места: мы их спрашиваем, давно ли причащались? И они отвечают, что не помнят, когда причащались. О окаянные иереи, нерадящие о своем доме! Как могут радеть о св. церкви люди, домашних своих к святому причащению не приводящие?» Димитрий должен был увещевать иереев, чтоб они не рассказывали грехи детей своих духовных, открытые на исповеди, должен был внушать, что такой духовник есть Иуда-предатель. Самое действительное средство против подобного состояния духовенства было надлежащее приготовление к священническому сану, и потому Димитрий завел училище при своем архиерейском доме и сам ревностно занимался им, испол-

няя и учительские обязанности, объясняя ученикам священные книги, а между тем сочинение Четых-Миней продолжалось безостановочно.

На место Димитрия митрополитом сибирским назначен был также малороссиянин Филофей Лещинский, эконом Киево-Печерского монастыря. Приехавши в Тобольск, Филофей рассмотрел в церквах божиих великое нестроение и обратился к Петру за средствами помочь беде. Филофей писал о необходимости завести в Тобольске школы и учить грамматике славянской и латинской, в ученики понудить от всякого чина детей, завести типографию великого государя казною, печатать буквари, часословы малые и псалтыри. Виниус доложил об этом государю и, с его слов, отвечал Филофею: «Преосвященному митрополиту паче простираться в учении славяно-российской грамматики, и чтоб вся, яже попу или диакону надобно знать, изучились и православной веры катехизис достаточно знали, и по согласию содержащей в ней артикул умели, и людей мирских учили; типографии в Тобольску не быть, а какие книги понадобятся, покупать в Москве». Филофей требовал, чтоб в Сибири каждый год все духовенство съезжалось на собор, один год – в Тобольск, а другой – в Енисейск, и когда архиерей или его посланные поедут в Енисейск или для обозрения епархии, то должны получать казенные подводы. Виниус отвечал: соборам, за дальностию и скудостию попов, быть не для чего и трудно, а паче ж из дальних городов и слобод. А чтоб православная вера без всякого препятая и споны управлялась благочинно, то выбирать ему (митрополиту) по городам и слободам надзирателей и старост добрых и искусных людей, которые б были жития беспорочного и св. писания божественного сведущих, и имя на себе носили трезвое и без всякого порока, и в подводах иметь рассуждение к иноземцам, затем что им, кроме того, великие от подвод тягости, разгоны б не учинить и разорения. Филофей просил: «Буде иноземцы похотят креститься в православную христианскую веру своею волею, и чтоб тем иноземцам ко крещению приходиться свободно, без ясачных убытков, а никому не возбраняти». Виниус отвечал: которые иноземцы хотят волею своею креститься в православную христианскую веру, и их крестить, а неволею никаких иноземцев не крестить и ясак с них не складывать, только их спрашивать, какой ради причины приходят ко св. крещению, велеть им учинить исповедь. Которые татары или иные иноземцы пойманы в смертных винах и похотят креститься на том, чтоб быть им живым, и таких, буде с верою совершенно приступают, окрестя и дав им время довольное на покаяние, потом учинить по Уложению и по градским законам, да всякие беззакония истребятся, и которые языка, ниже веры сведомы, и тех скоро не крестить, да не будет вере православной от них поругания, делать в том со многим опасьством и рассмотрением, испытуя вины, чего ради который иноземец крещения пожелает, внимали б словесы спасителей, реченные: сице кто верует и крестится, спасен будет. Филофей просил: церковных раскольщиков, отступивших от св. церкви и в упрямстве необратно стоявших, истребляти, а прочих, где явятся, всякими наставленьями приводить до соединения св. церкви, а непокоряющихся – дома их разграбляти на великого государя, а их смерти предавати. Ответ: учинить непокаянным раскольщикам по прежним указам, только того смотреть, чтоб, ложными покаяниями избыв смерти, не начали тайно простых и неутвержденных людей в свои прелести привлекать или, ушед в пустынные места, собираясь по-прежнему, людей льстить и зажигать, а которые раскольщики, собрав людей, сожигали, а сами уходили, и таким вора, по истинному свидетельству, хотя и покаются, самих без всякой пощады во страх иным, таким же вора, сжечь.

Говоря о достоинстве архиереев, которых Петр назначил из ученых малороссийских монахов для распространения просвещения между великороссийским духовенством, не забудем преданий о деятельности лучшего из великороссийских архиереев, знаменитого не школьною ученостью, но святостию жизни и сходявшегося с Петром в усердном радении о благе родной земли. В то время, когда другие духовные лица очень косо смотрели на нововведения, разорявшие, по их мнению, монастыри и архиерейские дома, воронежский епископ Митрофан прославлял намерения государя относительно заведения флота и убеждал народ всеми силами

помогать царю в великом деле, но одними словами епископ не ограничивался: он привез царю последние оставшиеся у него 6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом отсылал накопившиеся у него деньги к государю или в адмиралтейское казначейство с надписью: «На ратных». Легко понять, как Петр должен был смотреть на такого архиерея: не любя жертвовать ни для кого и ни для чего ничем из вновь вводимого, Петр в угоду воронежскому епископу велел снять статуи языческих божеств, украшавшие домик его в Воронеже, и горько оплакивал кончину святого старца.

Но было много людей, которые не разделяли взгляда воронежского епископа на тягости эпохи преобразования. Мы уже видели, как начались и как выражались неудовольствия на Петра за его нововведения; нововведения продолжались, началась война, потребовавшая больших пожертвований людьми и деньгами, рекрутская повинность впервые предстала народу со всею своею печальною обстановкою, и ропот усиливался. Крестьянин роптал: «Как его бог на царство послал, так и светлых дней не видали, тягота на мир, рубли да полтины, да подводы, отдыху нашей братии крестьянству нет». Сын боярский говорил: «Какой-де он государь? Нашу братью всех выволок в службу, а людей наших и крестьян побрал в даточные, нигде от него не уйдешь, все распропали на плотях, и сам он ходит на службу, нигде его не убьют; как бы убили, так бы и служба минулась и черни бы легче было». Крестьянки, солдатские жены, кричали: «Какой он царь? Он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век». Холоп говорил: «Если он (Петр) станет долго жить, он и всех нас переведет; я удивляюсь тому, что его по ся мест не уходят: ездит рано и поздно по ночам малолюдством и один, и немцам ныне времени не стало, потому что у него тесть Лефорт умер; какой он царь? враг оморок мирской; сколько ему по Москве ни скакать, быть ему без головы». Монах говорил: «Навешал государь стрельцов, что полтей, а уже ныне станет их солить». Другой монах сказал на это: «Эти полти даром не пройдут, быть обороту от последних стрельцов». Нищий говорил: «Немцы его обошли: час добрый найдет – все хорошо, а иной найдет – так рвет да мечет, да вот уж и на бога наступил: от церкви колокола снимает». Слышались слова: «Мироед! Весь мир переел; на него, кутилку, переводу нет, только переводит добрые головы!»

И при царе Алексее Михайловиче были сильные жалобы на отягощение народное, жалобы, оканчивавшиеся бунтами, и при царе Алексее Михайловиче Никон, Иосиф коломенский жаловались, что монастыри разорены. Но при этих жалобах если не архиереи вроде Никона или Иосифа коломенского, то народ обыкновенно щадил особу царя, складывал всю вину на бояр. Сын царя Алексея не пользовался этим преимуществом, потому что сблизился с немцами, ездил в их землю, обрился, оделся по-немецки, других заставлял делать то же, царицу сослал в монастырь, вместо нее взял немку Монсову. Сделана была попытка поднять православных против брадобрития: в мае месяце 1700 года в семи верстах от Троицкого монастыря, на большой московской дороге, у креста прибили лист против брадобрития. В Суздале подкинут был точно такой же лист у городских ворот во время проезда через них келейника архиерейского казначея; в Юрьеве Польском тот же лист явился прибитым у ворот Архангельского монастыря. Попытка не удалась; высказывались опасения, что дело не ограничится одними бородами; монах говорил: «Государь ездил за море, возлюбил веру немецкую: будет то, что станут по средам и пятницам бельцы и старцы есть молоко».

Не даром все это! Народная фантазия стала работать над объяснением поразительного, страшного явления, и первое объяснение было высказано: «Немцы его обошли, испортили». Но на этом не остановились, фантазия разыгрывалась все больше и больше, являлся вопрос: прямой ли это царь, сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны? В 1701 году князь Василий Сонцев был казнен за два разбоя, за два убийства и за непристойные слова, что царевна Софья называла Петра стрелецким сыном. Но вымысл отъявленного негодяя или озлобленной сестры не мог иметь ходу, ибо не объяснял того, что именно нужно было объяснить – почему Петр полюбил все немецкое! Наконец народная фантазия создала объяснение:

Петр родился от немки и был подменен царице, родившей девочку. Объяснение пошло в ход с дополнением, что Петр был сын Лефорта. Бабы, стирая белье, толковали: «Крестьяне все измучены, высылают их на службу с подводами, да с них же берут сухари; все на государя встали и возопяли: какой-де он царь? Родился от немки беззаконной, он замененный, и как царица Наталья Кирилловна стала отходить сего света и в то число ему говорила: ты-де не сын мой, замененный. Он велит носить немецкое платье – знатно, что родился от немки».

Но и на этом фантазия не остановилась. Царь ввел брадобритие и немецкое платье, царицу отослал, Монсову взял, стрельцов переказнил – все по возвращении из-за границы, но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя Петра у себя и прислали на Русь другого, своего, немца же, чтоб обусурманить православных. Сначала, вероятно на основании слухов о неприятностях в Риге, создалась следующая сказка: «Как государь и его ближние люди были за морем и ходил он по немецким землям и был в Стекольном (Стокгольме), а в Немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругалась, ставила его на горячую сковороду и, сняв с сковороды, велела его бросить в темницу. И как та девица была именинница, и в то время князя ее и бояре стали ей говорить: пожалуй, государыня, ради такого своего дни выпусти его, государя, и она им сказала: подите посмотрите: буде он валяется, и для вашего прошенья выпущу. И князи и бояре, посмотря его, государя, ей сказали: томен, государыня! и она им сказала: коли томен, и вы его выньте, и они его, выняв, отпустили. И он пришел к нашим боярам; бояре перекрестились, сделали бочку и в ней набили гвоздя и в тое бочку хотели его положить, и про то уведал стрелец и, прибежав к государю к постеле, говорил: царь государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится, и он, государь, встал и вышел, и тот стрелец на постелю лег на его место, и бояре пришли и того стрельца, с постели схватя и положи в тое бочку, бросили в море». Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром, и люди, враждебные преобразованию, стали распространять слух, что он погиб за границую, а на его место явился немчин: «Это не наш государь, немец, а наш царь в немцах в бочку закован да в море пущен».

Противники преобразования не остановились и на немецком происхождении Петра. Мы знаем, что в России были люди, которые давно уже толковали об антихристе, видели его и в Никоне, и даже в царе Алексее Михайловиче; понятно, что они заговорили еще громче о пришествии антихриста, когда увидели такую полную перемену старины, совершенную сыном Алексея.

В июне 1700 года в Преображенский приказ явился певчий дьяк Федор Казанец с доносом: приходили к нему зять его, подьячий Алексеев, с женою и сказали: живут они у книгописца Гришки Талицкого и слышат от него про государя всякие непристойные слова, да он же, Гришка, режет неведомо какие доски, хочет печатать тетради и, напечатав, бросать в народ. Талицкий узнал, что его ищут в Преображенском, и скрылся, но потом был отыскан, подвергнут пытке и признался, что составил письмо, будто настало ныне последнее время и антихрист в мир пришел, т.е. государь, также и другие многие статьи писал государю в укоризну и народу от него отступить приказывал, слушать и подати платить запрещал, а велел взыскать князя Михаила, от которого будет народу добро. Списки с своих сочинений давал своим единомышленникам и друзьям и за то брал с них деньги. О последнем времени и антихристе вырезал две доски, хотел на них печатать листы и хотел их отдавать в народ безденежно к возмущению на государево убийство. Имя князя Михаила он писал для того: как государь пойдет с Москвы на войну и стрельцы, разосланные по городам, соберутся к Москве, то чтоб они выбрали в правительство боярина князя Михаила Алегуковича Черкасского для того, что он человек добрый. Талицкий показал, что о последнем веке и об антихристе он разговаривал с тамбовским епископом Игнатием, который вслед ему все это написал в книгу и прислал ему пять рублей денег, и он за эти деньги написал епископу тетради. Игнатий признался, что слышал от Талицкого поносные слова на государя, и говорил: «Видим мы и сами, что худо делается, да что мне

делать, я немощен»; просил Талицкого написать все в тетрадах получше, чтоб можно было ему, Игнатию, в том деле истину познать. Талицкий уличал Игнатия в том, что когда он слушал написанное в тетрадах, то плакал и, взявши тетради, поцеловал их. Потом Талицкий показал на боярина князя Ив. Ив. Хованского, который говорил ему: «Бог дал было мне венец, да я потерял: брали меня в Преображенское, и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали мне для отречения столбец, и по тому письму я отрицался, и в отречении спрашивали вместо: веруешь ли? – пьешь ли? и тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше было мне мучения венец принять, нежели такое отречение чинить». (Хованский рассказывал о шутовских обрядах в компании.) Поп Андрей показал, что Талицкий государя антихристом называл и говорил: «Какой он царь: сам людей мучит!», говорил и про царевича: «От недоброго корня и отросль недобрая; как я с Москвы скроюсь, то на Москве будет великое смятение». Монах Матвей показал: «Талицкий пришел к нему в келью, принес с собою тетрадку об исчислении лет и говорил: „Питаться стало нечем, а вы что спите? Пришло последнее время; в книгах пишут, что будет осьмой царь антихрист, а ныне осьмой царь Петр Алексеевич, он-то и антихрист“. Бояре приговорили: Гришку Талицкого с пятью товарищами казнить смертию, других бить кнутом и сослать в Сибирь; тамбовского епископа Игнатия, расстриженного, сослать в Соловки, в тюрьму; князь Хованский умер до окончания дела под караулом.

Талицкого казнили. Стефан Яворский написал книгу против его учения под заглавием «Знамения пришествия антихристов», но, как обыкновенно бывает, книгу читали те, которые и без нее не верили, что Петр – антихрист, а в низших слоях народа книгу Стефана не читали, и мысль об антихристе не умирала в людях, страдавших боязнию нового. В 1704 году в Симонове монастыре хлебный старец Захария говорил: «Талицкий ныне мученик свят; вот ныне затеяли бороды и усы брить, а прежде сего этого не бывало; какое это доброе? Вот ныне проклятый табак пьют!» В Олонецком уезде после службы церковной шел такой разговор между священником и дьячком. *Дьячок* : На Москве ныне изволил государь летопись писать от Рождества Христова 1700 года да платья носить венгерские. *Священник* : Слышал я в волости, что и Великого поста неделя убавлена, и после Светлого воскресенья и Фоминой недели учнут повся меж говенья в среды и пятки мясо и млеко ясти во весь год. *Дьячок* . Как будут эти указы присланы к нам в погосты и будут люди по лесам жить и гореть, пойду и Я с ними жить и гореть. *Священник* : Возьми и меня с собою: знать, что ныне житье к концу приходит. Ладожский стрелец Александр на дороге из Новгорода в 1704 году встретил старца, который говорил ему: «Ныне службы частые, какое ныне христианство? Ныне вера все по-новому: у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Про государя говорил: «Какой он нам, христианам, государь? Он не государь, латыш: поста никогда не имеет; он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы, писано об нем именно в книге Валаамских чудотворцев, и что он головою запротевывает и ногою запинаятся, и то его нечистый дух ломает, а стрельцов он переказнил за то, что они его еретичество знали, а они, стрельцы, прямые христиане были, а не бусурманы, а солдаты все бусурманы, поста не имеют; прямого государя христианского, царя Иоанна Алексеевича, извел он же, льстец. Ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят да в кудрях, бороды бреют». Стрелец заметил: «Вот ныне и иноземец, и русский Александр Данилович Меншиков, видишь, как пожалован от государя!» Старец отвечал: «Просто ль он пожалован? Он не просто живет, от Христа отвергся, для того от государя имеет милость великую, а ныне за ним беси ходят и его берегут». Стрелец заметил: «Государь от царского родился колена». Старец отвечал: «У него мать была какая царица? Она была еретица, все девок родила». О себе старец объявил стрельцу: «Я живу в Заонежье, в лесах; ко мне летней дороги нет, а есть дорога зимняя, и то ко мне ходят на лыжах».

После брадобрития особенно сильное неудовольствие возбуждали повторительные указы о перемене платья. 4 января 1700 года объявлен был именной указ: «Боярам, и окольниковым,

и думным, и ближним людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людем, и людем боярским, на Москве и в городех, носить платье, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием». В марте 1700 года Курбатов писал царю, что надобно возобновить указы, хотя с пристрастием, о венгерских кафтанах и о перемене ножей, потому что народы ослабевают в исполнении и думают, что все будет по-прежнему. 26 августа прибиты были по городским воротам указы о платье французском и венгерском и для образца повешены чучелы, т.е. образцы платья. В 1701 году новый указ: «Всяких чинов людем московским и городовым жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы крестьяне, приезжая, живут на Москве для промыслов, кроме духовного чина и пашенных крестьян, носить платье немецкое, верхнее саксонское и французское, а исподнее – камзолы, и штаны, и сапоги, и башмаки, и шапки немецкие и ездить на немецких седлах, а женскому полу всех чинов, также и попадьям, и дьяконицам, и церковных причетников, и драгунским, и солдатским, и стрелецким женам и детям их носить платье и шапки и кунтушы, а исподние бостроги, и юпки, и башмаки немецкие ж, а русского платья, и черкесских кафтанов, и тулупов, и аязмов, и штанов, и сапогов, и башмаков, и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людем не делать и в рядах не торговать. С ослушников указа в воротах целовальники берут пошлину, с пеших по 13 алтын по 2 деньги, с конных по 2 рубля с человека; мастеровым людем, которые станут делать запрещенное платье, указ грозит жестоким наказаньем».

Мы уже говорили прежде о смысле преобразования наружности русского человека – преобразования, решительно закончившегося при Петре. Теперь, говоря преимущественно о перемене платья, мы опять должны заметить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий, полусонный азиатец носит длинное, спальное платье. Как скоро человечество, на европейской почве, начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенно человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает полы своего платья. То же самое делает европейское человечество, стремясь к своей новой, усиленной деятельности: оно подбирает, обрезывает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья, и наш фрак (пусть называют его безобразным) есть необходимый результат и знамение этого стремления; длинное платье остается у женщины, которой деятельность сосредоточена дома, в семействе. Таким образом, и русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно, должен был одеться и в европейское платье, ибо вопрос не шел о знамени народности (это вопрос позднейший), вопрос состоял в том: к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и соответственно носить в одежде и знамение этой семьи.

Но иначе смотрели на дело многие из русских, современников Петра. Переменять платье, одеваться немцем было для них и тяжело и убыточно, и, даже оставляя в стороне суеверную привязанность к старине, перемена эта могла возбуждать сильное раздражение. Дмитровский посадский Большаков, надевая новую шубу, сказал с сильною бранью: «Кто это платье завел, того бы повесил», а жена его прибавила: «Прежние государи по монастырям ездили, богу молились, а нынешний государь только на Кокуй ездит». Нижегородский посадский Андрей Иванов пришел в Москву извещать государю, что он, государь, разрушает веру христианскую: велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть – и потому для обличения его, государя, он и пришел.

Внизу были недовольны нововведениями; наверху царевны и челядь их были также недовольны, только не нововведениями: они еще прежде Петра пошли по новой дороге и нашли ее очень приятною; царевны были недовольны тем, что содержание их было ограничено, что им нельзя было жить так, как жилось в правление царевны Софьи. Мы видели, что и прежде были жалобы на боярина Стрешнева, что он царевен с голоду поморил. Жалобы продолжались.

Дворцовый повар Чуркин говорил: «У царевны Татьяны Михайловны я стряпаю вверху, живу неделю, и добычи нет ни по копейке на неделю; кравчий князь Хотетовский лих, урвать нечего. Прежде сего все было полно, а ныне с дворца вывезли все бояре возами. Кравчий ей, государыне, ставит яйца гнилые и кормит ее с кровью. Прежде сего во дворце по погребам рыбы было много, и мимо дворца проезжие говаривали, что воняет, а ныне вот-де не воняет, ничего нет». После этого легко понять, что одна из царевен, Екатерина Алексеевна, предалась страстно исканию кладов. Царевна попалась, потому что завела сношения с костромским попом Григорьем Елисеевым, на которого донесли, что у него бывала многая дворцовая посуда за орлом. Царевна призналась Петру, что поп Гришка был у нее для того, будто он по планетам клады узнает. Гришка признался, что планетные тетради у него были и что по планетам он клады узнает, а царевне говорил обманом для взятку. Старых постельниц царевны, через которых она сносила с попом, забрали; испуганная Екатерина посылала говорить им: «Для бога, не торопись, молись богу. А хотя и про иное про што спросят, так бы нет доводчика, так можно в том слове умереть. Пуще всего писем чтоб не поминала. Либо спросят про то, не видала ли попа вверху? Так бы сказала, что одно, что хочу умереть – не знаю, не ведаю. Пожалуй, для бога, прикажи всем им, которые сидят, чтоб ни себя, ни меня, ни людей не погубили; молились бы богу, да пресвятой богородице, да Николаю-чудотворцу, обещались бы что сделать. Авось ли господь бог всех нас избавит от беды сея! Расспроси хорошенько про старицу и про то, что она доводит в том на попа, на царицу и на меня? Призови к себе Агафью Измайловскую и ей молвь: что-де ты хоронишься? От чего? До тебя-де и дела нет. А коли бы-де дело было, где-де ухоронишься от воли божией? Помилуй-де бог от того! А как бы-де взяли, так бы-де вы, чаю, все выболтали, как хаживали, и как что, и как царевен видали. Не умори-де, для бога! Хотя бы-де взяли, и вам бы-де должно за нас, государынь, и умереть! А наемни с нею посылала денег два рубля на подворье зашито в мешке к нему. И про это б не сказывали, нету на это свидетелей. И Дарье про то молвь, чтоб не сказывала тех врак, что про старца Агафья ей сказывала, и куда-де она Ваську посылала; о чем не спрашивают, не вели того врать; о чем и спрашивают, так в чем нет свидетелей, так нечего и говорить. Чтоб моего имени не поминали. И так нам горько и без этого».

Женщины лишних врак не сказывали, но и в том, что показали в допросе, находим любопытные подробности: «Отпущена она, Дарья, от царевны за болезнью к Москве, и на отпуске царевна ей приказывала, чтоб она такого человека проведала, у кого на дворе или где ни есть клад лежит, чтоб, приехав, тот клад взять, и такого человека она сыскала – Ваську Чернова, который сказал: от Москвы в 220 верстах на дворе у мужика в хлеве под гнилыми досками стоит котел денег: у меня-де тот клад и в руках был. И она, Дарья, для взятья того кладу с ним, Ваською, посылала для веры покровского дворцового сторожа Измайловского. И тот сторож, приехав к Москве один, ей, Дарье, сказал: не токмо того кладу, и двора он, Васька, ему не указал. Другая женщина, Марья Протопопова, показала: изволила царевна посылать меня в дозор за Ореховою, и Орехова ходила на могилу к Ивану Предтече, которая в Коломенском церковь, и приказала мне стоять одаль от того места, где копали они: Орехова да вдова Акулина; они только кости человеческие выкопали, а я как пришла, так ей, государыне, стала говорить, что нет ничего, и она стала кручиниться на меня и на тое вдову Акулину: „Ни сошто вас нету“. И в те поры пришла государыня, сестра ее, царевна Марья Алексеевна, увидела, что я плачу, и стала спрашивать, скажи-де по правде? И я им стала рассказывать, что кости человеческие, и та стала сестре своей говорить: полно, сестрица, нехорошо затеяла, грех лишний, что мертвым покою нет и баб в погибель приведешь, и она стала и на сестру свою досадовать. Изволила посылать коляску сыскать в Немецкую слободу, и изволила сама поехать на двор к посланнику, что был галанской, и как приехала и стала спрашивать про сахарницу, где она живет, и нам рассказали, и как туда приехала, стала заказывать нам, чтоб мы не сказывали никому, и у сахарницы изволила выбирать сахару и канфекту на девять рублей, и они без денег не отдали,

и она приказала запечатать тот сахар, а после не изволила брать. И после того изволила меня посылать по иноземку Марью Вилимову Менезеюшу, и велела ее привезти в Коломенское, и та иноземка поехала, и государыня изволила меня спрашивать, та ли дает в рост деньги? Поговори ты ей, чтоб и мне дала, и я по тем ее словам стала говорить, что не даст без закладу, и она сказала: „Лихо-де закладу нет, как бы так выпросить!“ – а после сих слов изволила тое иноземку к руке жаловать и сама стала с нею говорить, а про деньги ей застыдилася говорить. В Немецкой слободе изволила поехать смотреть двор, и на том дворе хозяйка пьяна была, у ней родины были, и государыня изволила напрашаться кушать, чтобы построила хорошее кушанье, и как поехала от тое хозяйки, и встретился ей Петр Пиль, и узнал ее по карете, и стал к себе звать, и она изволила поехать к нему на двор и ему сказала, чтоб обед сделал, и ее унимала царевна Марья Алексеевна, и она не изволила послушаться, ездила во все места, где изволила напрашаться, и после того изволила у себя стол сделать про тех, у которых кушала».

Все неудовольствия, которые обнаружались в разных сферах, не были, однако, довольно сильны, чтоб произвести восстание и помешать хотя на время делу преобразования. Причина заключалась в том, что на стороне преобразования были лучшие, сильнейшие люди, сосредоточившиеся около верховного преобразователя; отсюда то сильное, всеобъемлющее движение, которое увлекало одних и не давало укорениться враждебным замыслам других; машина была на всем ходу; можно было кричать, жаловаться, браниться, но остановить машину было нельзя. И чем остановить? Стрельцы переказнены и разогнаны; инокиня Сусанна уже не выйдет из монастыря; духовенство без патриарха, и подле недовольных великороссийских архиереев архиереи из малороссиян, которые действуют в видах преобразователя; люди, которым мерещутся признаки последнего времени, могут только бежать в леса и степи. В Москве и около Москвы нельзя ничего сделать: хотя царь и в постоянной отлучке, но есть люди, которые зорко смотрят во все стороны; царь в отсутствии, но в Преображенском сидит пресбургский король. «Бог любит праведника, царь любит ябедника», – говорят недовольные, и, однако, делать нечего, надевают немецкое платье.

В Москве и около Москвы ничего сделать нельзя, но можно начать дело где-нибудь подальше от Москвы, от Преображенского, поближе к козакам. Козаки – одна надежда после стрельцов. И в половине 1705 года, когда царь был с войском на западе, восстание за старину вспыхнуло в самом отдаленном застенном углу, окруженном козаками, в Астрахани. Место было выбрано самое удобное, и выбрано оно было недовольными из разных городов, вследствие чего астраханский бунт и не носит вполне местного характера. Астрахань была только сборным местом, удобным и потому, что в таком отдалении от Москвы воеводы и начальные люди обыкновенно разнуздывались и своими притеснениями возбуждали сильнейшее неудовольствие, чем и воспользовались заводчики мятежа. Этими заводчиками являются: *ярославец* гостиной сотни первой статьи Яков Носов; *москвитин* Артемий Анцыфоров; *сибирянин* гостиной сотни Осип Твердышев; *нижегородцы* посадские люди Борис Докукин, Петр Скурихин; *павловцы* Илья и Василий Басиловы; бурмистры делового двора: *углечанин* Филипп Калистратов, Михайла Назаров, *сибирянин* Петр Духов, *нижегородец* Козьма Иванов; *астраханские* жители: гостиной сотни Иван Артемьев; земские бурмистры: Антип Ермолаев, Алексей Банщиков, Василий Яковлев, Гаврила Ганчиков, Иван Севрин. Вместе с этими представителями астраханских и иногородных жителей заводчиками являются пятидесятники стрелецких полков и сержанты солдатского полка. Одним из главных разгласителей ложных слухов был пришедший из Москвы стрелецкий сын Степан москвитин. Отец Степана, Кобыльского полка стрелец, умер на службе в Киеве; двое дядей казнены в Москве; Степан остался с матерью, с которою хаживал на загородный двор Федора Лопухина к человеку его, столяру Терентью Андронову; тут Степан слышал, как жена Андропова разговаривала с его матерью: «Стрельцов всех разорили, разослали с Москвы, а в мире стали тягости, пришли службы, велят носить немецкое платье, а при прежних царях этого ничего не бывало; стрельцов разорили, платье

переменяли, и тягости в мире стали потому, что на Москве переменный государь: как царица Наталья Кирилловна родила царевну и в то же время боярыня или боярышня родила сына, и того сына взяли к царице». Стрельчиха поддакивала. Выросши, Степан отправился в Астрахань; на дороге, в Коломне, зашел к дяде, Ивану Су гоняю, который говорил ему: «Сделаешь добро, если в Астрахани людей смутишь, и Дон и Яик потянут с вами же, кому против вас быть противным? Государь бьется с шведом, города все пусты, которые малые люди и есть, и те того же желают и ради вам будут, можно старую веру утвердить». Дядя дал Степану письмо, в котором говорилось, что Москвою завладели четыре боярина столповые и хотят Московское государство разделить на четыре четверти. Сугоняй наказывал подкинуть это письмо, как в Астрахани забунтуют. Приехав в Астрахань, Степан начал говорить старикам-раскольникам и стрельцам тайно, что слышал в доме Лопухина: иные поддакивали: «сбудется так», другие унимали, но он стал громче говорить и нашел единомышленников.

В июне прошла в Астрахани площадная молва, что государя не стало, и для того воевода астраханский Тимофей Ржевский и начальные люди веру христианскую покинули, начали бороды брить и в немецком платье ходить. В июле стрельцы толковали: «Худо в Астрахани делается от воеводы и начальных людей: завели причальные и отвальные (пошлины): хотя хворосту на шесть денег в лодке привези, а привального дай гривну; быть худо, даром не пройдет!» К Никольской церкви (что в Шипиловой слободе) собирались стрельцы; однажды к ним вышел пономарь этой церкви Василий Беседин, вынес книгу и начал читать о брадобритии. «Хорошо, – говорил пономарь, – за это и постоять, хотя б и умереть; вот о том и в книге написано». Сильное впечатление произвел поступок целовальника, стрельца Григорья Ефтифеева, который должен был собирать пошлины с русского платья: Ефтифеев пошлин собирать не стал, бороды себе не выбрил и на вопрос воеводы, для чего он это делает, отвечал: «Хотя умру, а пошлины собирать и бороды брить не буду». Воевода велел посадить его под караул. В двадцатых числах июля на торгу прошла молва, что запрещено будет играть свадьбы семь лет, а дочерей и сестер велено будет выдавать замуж за немцев, которых пришлют из Казани. Астраханцы пришли в ужас и решились выдать своих девиц как можно скорее замуж до указа, чтоб потом не выдавать их за немцев. 29 июля, в воскресенье, было сыграно свадеб со сто; на каждой не обошлось без пира; разгоряченных вином легко было поднять на бунт. Ночью, часу в четвертом, у Никольской церкви собралось человек с 300, через Пречистенские ворота вломились они в Кремль; Прохор Носов схватил караульного капитана Московского полка, прозвищем Малую Землю, и ударил о землю, иностранца матроса порубил саблею; всего убито было пять человек. Тут кто-то ударил в набат, по набату сбежались в Кремль стрельцы и солдаты всех полков, искали воеводу и не нашли; взяли у митрополита из кельи подьяческого сына Кучукова и перед соборною церковью закололи копьями. В ту же ночь солдаты убили своего полковника Девиня и капитана Меера; стрелец заколол и жену Меера за то, что за несколько времени до бунта она говорила ему: «Станете и вы в пост мясо есть!» Дело начали, что же дальше? Раздались крики: «Надобно идти в Москву, проведать про государя, жив ли он?» – «А разве есть слух, что не жив?» – «Да говорят, что не стало!» – «Нет он жив, да в заточении в Стекольном, закладен в столп, а на Москве не прямой государь». На другой день утром солдат Давыдов и Прохор Носов сыскали Ржевского на воеводском дворе за поварнею в курятнике и привели в круг. Явился обличитель Ермолай, обручник; он кричал на воеводу: «Ты меня за три обруча кнутом бил». Суд был не долог: стрелец конного полка Уткин бросился на Ржевского и сколол его копьем.

Покончили с царским воеводою, надобно было выбрать своего начальника. Стрельцы Тенютин и Яковлев кричали громче всех, что надобно выбрать в старшины ярославского гостя Якова Носова, раскольника и астраханца бурмистра Гаврилу Ганчикова: «Они-де люди умные, все войско управят!» Умные люди были выбраны в старшины.

Первым делом умных людей было разослать грамоты к окрестным козакам, поднимать их за старину. В грамотах говорилось: «Стали мы в Астрахани за веру христианскую, и за брадобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам нас и наших жен и детей в русском старом платье не пушали, а которые в церковь божию ходили, и у тех платье обреза-вали и от церквей божиих отлучали и выбивали вон и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили воеводы и начальные люди, и болванам, кумирским богам, они, воеводы и начальные люди, поклонялись и нас кланяться заставляли. И мы за веру христианскую стали и чинить того, что болванам кланяться, не хотели. И они, воеводы и начальные люди, по караулам хотели у караульных служилых людей ружья отобрать, а у иных отобрали и хотели нас побить до смерти, а мы у начальных людей в домах вынули кумирских богов. Да в прошлом 1704 году на нас брали банных денег по рублю, да с нас же велено брать с погребов со всякой сажени по гривне, да у нас же хлебное жалованье без указа отняли. И мы о том многое время терпели, и, посоветовав между собою, мы, чтоб нам веры христианской не отбыть и болванам кумирским богам не поклоняться и напрасно смертью душою с женами и детьми вечно не умереть, и за то, что стала нам быть тягость великая, и мы, того не могучи терпеть и веры христианской отбыть, против их противились и воеводу Тимофея Ржевского и из начальных людей иных убили до смерти, а иных посадили за караул. Да нам же ведомо чинится от купецких и от иных всяких чинов людей, что в Казани и в иных городах поставлены немцы по два и по три человека на дворы и тамошним жителям и женам их и детям чинили утеснения и ругательства».

Астраханские посланцы и грамота, ими привезенная, произвели сильное волнение на Тереке. Возмутились всем городом и пришли к воеводе на двор с копьями; воевода из хором уговаривал их астраханцам не верить и не мутиться. Воевода остался жив, но козаки требовали у него на смерть подполковника Илью Некрасова, воевода не выдал Некрасова; тогда на другой день они вломились с ружьем в воеводские хоромы, взяли Некрасова силою, отвели в приказ за караул, потом пытали и убили всем полком. И на Тереке, как в Астрахани, приступили немедленно к избранию начальных людей, взяли невольню посадского Василья Авдеева всем городом да козака Степана Тимофеева в атаманы и целовали крест быть заодно с астраханцами. Но на Тереке далеко не все думали одинаково: козаки и московские стрельцы были за бунт, но терские стрельцы, конные и пешие, с ними не тянули. В Астрахани получена была очень неудовлетворительная грамота от терских и гребенских атаманов и козаков: «Мы ради за веру Христову, и за брадобритие, и за табак, и за немецкое платье, мужское и женское, и за отлучение церкви божией стоять и умирать, но вы, все великое астраханское войско и все православное христианство, не прогневайтесь на нас за то, что войска к вам на помощь не послали, потому что, живым богом клянемся, невозможно нам войска к вам прислать: сами вы знаете, что нас малое число и с Ордою со всею не в миру, чтобы по-прежнему от Орды жен и детей не потерять». Таким образом, астраханцы должны были отказаться от надежды получить помощь с Терека; напротив, один из тамошних заводчиков бунта, писарь Страхов, писал, чтоб астраханцы прислали войска на помощь людям, стоявшим за веру Христову, и брадобритие, и старое платье, мужское и женское. Между тем воевода, вышедший с верными правительству людьми из города, возвратился туда с татарами и черкесами и усмирил бунтовщиков, некоторых казнил, заводчиков отослал в Москву.

Красный и Черный Яр объявили себя за Астрахань. Астраханские посланцы, приехавши в Красный Яр, ударили в набат и, вынув сабли наголо, говорили красноярцам: «Если старшин не выберете, на нас не пеняйте». Особенно кричал Иван Кузнечик: «Либо мы пропадем, либо вы пропадете; если старшин не выберете, то вам сабли не миновать». Красноярцы взбунтовались всем городом, сковали воеводу за налоги и отправили его в Астрахань с челобитчиками на него; в Астрахани челобитья найдены справедливыми и воевода убит.

Далее Красного и Черного Яра бунт не пошел. Умные люди, распорядившиеся в Астрахани, послали атамана Ивана Дорофеева с войском поднимать Поволжье; Дорофеев подошел к Царицыну, послал к горожанам приглашение стать за брадобритие и старое платье, но получил ответ: «Пишешь к нам, чтоб пристать к вашему союзу: и мы к вашему союзу пристать не хотим; с кем вы думали в Астрахани, там себе и делайте. Да вы же к нам писали, будто к нам приезжают в город калмык многое число и будто в городе отымают хлеб, и калачи, и харч безденежно: и у нас того не бывало. Да вы ж к нам писали, будто стали за православную христианскую веру: и мы, божиею милостию, в городе Царицыне все христиане и никакого раскола не имеем и кумирским богам не поклоняемся, и козаки донские к вам приезжали из разных станиц, и к вашему приобщению приставать не хотят и вам отказали».

Отправляя Дорофеева к Царицыну, умные люди ему наказали: «Если донские козаки к ним пристанут, то им, взяв Царицын боем, идти до Москвы и по дороге брать города, а противников побивать до смерти, потому что государь в Стекольном закладен в столпе и на Москве управляют бояре, Бутурлин да Головин, и, пришед к Москве, проведать о том подлинно». Итак, успех бунта зависел от донских козаков: донские козаки не дали помощи, и Царицын не был взят боем. Дорофеев не пошел дальше без козаков. Отчего жена великой реке не нашлось охотников постоять за Христову веру и за брадобритие? Охотники были, потому что кроме желания добыть зипун были сильные неудовольствия на Москву, на царя; охотники были, но их было еще не много, они не были в собрании, и, главное, у них не было вождя. Астраханский бунт произошел внезапно, без предварительного сношения с недовольными на Дону, застигнул последних врасплох, вовсе неприготовленными; притом умные люди, распорядившиеся в Астрахани, сделали большую ошибку, отправив возмутительные письма прямо в Черкасск, к правительству донскому, тогда как атаманы и старые козаки никогда не начинали восстаний против московского правительства, и бунты вспыхивали не в Черкаске, а в дальних козачьих городках, наполненных новопривышею голутьбою, искателями зипунов. Наконец, Федор Матвеевич Апраксин, узнав в Воронеже об астраханском бунте, писал в Черкасск, чтоб тамошнее правительство послало от себя во все козачьи городки добрых козаков человека по два или больше с подтверждением, чтоб нигде к астраханцам не приставали и, если явятся воры, били, ловили и присылали в Воронеж; войсковому атаману Апраксин велел идти к Царицыну, чтоб воровской замысел пресечь; о себе Апраксин писал, что идет к ним водой с солдатскими полками, а наперед себя посылает козачьи слободские полки; то же самое написал и во все козачьи городки. «О походе своем писал к ним и пустил эха, чтоб их привести тем в размышление», – доносил Апраксин царю. Донцы действительно пришли в размышление, следствием которого было то, что они целовали крест не изменять царю, выслали войско против бунтовщиков и астраханских посланцев, заковавши, отправили в Москву вместе с престелною грамотою. В Москве любопытствовали знать, что такое за кумирские боги, о которых писали астраханцы? Один из их посланных объяснил дело: кумирами бунтовщики называли столярной работы личины деревянные, на которых у иноземцев и у русских начальных людей кладутся накладные волосы для бережения, чтоб не мялись. Присланные от донских козаков объявили в Москве, что у них все тихо и бунта не будет, потому что им от великого государя никакого утеснения нет, и тем они перед иными народами от великого государя пожалованы и взысканы, что к ним до сих пор о бородах и о платье указу не прислано, и платье они ныне носят по своему древнему обычаю, как кому из них которое понравится: иные любят носить платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а иные обыкли ходить в русских стародревнего обычая платьях, и что кому лучше похочется, тот так и творит, и в том между ними, козаками, распри и никакого посмеяния друг над другом нет, а немецкого платья никто из них, козаков, у них на Дону не носит, а мастера, т.е. портные, которые б немецкое платье могли делать, в городках их козачьих не живут, и охоты у них, козаков, кроме изволения государского, к тому

немецкому платью нет, а когда к тому будет изволение его, государское, и они воли государственной противны не будут.

Таким образом, бунт был остановлен в самом начале несогласием донских казаков в нем участвовать, а между тем Петр тотчас же принял энергические меры к его потушению. Он находился в Митаве, когда получил из Москвы весть об астраханском бунте; понимая всю опасность бунта по местности, в которой он загорелся, зная, какими горючими материалами окружена эта местность, зная, что многие и не в дальнем расстоянии от Москвы встретят с радостью людей, восставших за бранобритие и старое платье, Петр велел фельдмаршалу Шереметеву поспешно двинуться к Москве, за которую очень опасался, как видно из письма его к Т. Н. Стрешневу от 12 сентября: «Вчера от князь Бориса (Голицына) письмо я принял, в котором пишет о бунте астраханском и что вы выбрали воеводу. Извольте из ближних несколько... (прибрать?) и дать ружье, такоже сыскать к ним офицеров, кои ныне учат их по городам. Мы для лучшего отпустили к вам господина Шереметева с конными и пешими полки и чаем, что он с конницею к вам будет в две недели, також и пехота не замешкается, и сие извольте объявить. Також советую вам, пока вышереченной господин к вам будет, чтоб деньги, из приказов собрав, вывезли из Москвы или б с верными (людьми) тайно где положили или закопали, всякого ради случая; також и ружье лучше б, чтоб не на Москве было. Почты, кои ходят за рубеж и к городу, извольте задержать до времени».

Шереметев с дороги дал знать государю, что донские казаки не за бунтовщиков, а против них; верное известие о том же получено было и от Апраксина. Самое большое опасение не сбылось за Москву не нужно стало бояться, но Петр не любил складывать рук вследствие утешительных известий и писал Шереметеву: «Для бога, не мешкай, как обещался, и тотчас пойдя в Казань». В какое радостное изумление пришел Петр, получивши известие, что казаки отвергли предложение астраханских бунтовщиков, всего лучше видно из письма его к Апраксину (от 25 сентября): «Письма ваши принял, из которых выразумел, что всемилостивейший господь не вконец гнев свой пролити, и оным уже чрез 25 лет губительным псам волю и в невинных кровях утеху подати изволил, и чудесным образом огонь огнем затушити изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его суть воле. Которое дело с удовольствием рассуждая и воздав оному хвалу, не мало в настоящих трудах обрадовались».

Торопя Шереметева с войском к Астрахани, Петр хотел попытаться, нельзя ли покончить с нею поскорее мирным путем. Для этого 11 октября он послал в Астрахань с тамошним жителем Кисельниковым грамоту с увещанием к народу отстать от возмутителей и, перехвативши главных заводчиков, прислать их в Москву, чем заслужат прощение, в противном же случае будут казнены без пощады. 3 января 1706 года Кисельников приехал в Астрахань; собрался круг, ибо Астрахань, как в разинское время, управлялась теперь по-козацки, царскую грамоту приняли в кругу и послали за митрополитом Самсоном. Когда он пришел, стали читать грамоту и, выслушав ее, за государево здоровье молебствовали при пушечной стрельбе. 13 января митрополит приводил всех к присяге, и положили: буде от кого впредь с того числа какая будет неверность, и им чинить указ, чего они будут достойны; написали повинную к государю и для ее поднесения выбрали 8 человек, которых и отправили вместе с Кисельниковым. В повинной говорилось: «Междоусобие учинилось за бранобритие и немецкое платье и от многих воеводы Ржевского и полковников у начальных людей для взятков, налог и обид. Воевода не дал срока в деле немецкого платья для своей корысти, посылал по многие праздники и воскресные дни капитана Глазунова да астраханца Евреинова к церквам и по большим улицам, и у мужска и у женска полу русское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед народом и усы и бороды, ругаячи, обрезывали с мясом. Ржевский у стрельцов ружьи обобрал, хлебного жалованья давать им не велел, с бань брал по рублю и по 5 алтын, с погребов по гривну, подымных по 2 деньги с дыму, валешных по 2 деньги, от точенья топоров по 4, с ножа по 2, от битья бумаги по 4 с фунта, с варенья пив и браг с конных по 5 алтын, с солдат и пеших стрельцов по

гривне, с малолетних, со вдов, и которые в свейском походе, и женам их и детям платить было нечем, и тех сажал за караул и бил на правеже, и многие дворишки продавали и детей закладывали; у служилых людей и у всех градских жителей дворам спрашивал купчих, и которые дворы построены на данных местах, а иные купленные и в моровое поветрие крепости утерялись и в пожар сгорели, и с тех крепостей брали пошрины вдвое и втрое, а с рыбных и соляных и с иных всяких промыслов брали откупщики с стругов и с посадов привального по рублю, и по два, и по три, и по пяти, а с мелких стружков по полтине, а в тех откупах он, Ржевский, с начальными людьми были товарищами. Хлебные запасы из стругов велел без указа выгружать и возить на житный двор служилым людям, и они выгружали и возили на себе мимо подрядчиков, а он, Ржевский, за провоз тех запасов брал с подрядчиков деньги и моклый и гнилой запас целовальникам велел принимать у подрядчиков в неволю и за то бил батожем насмерть. Он же посылал их зимним путем для рубки дров к селитряному варенью, и многие служилые люди от стужи помирали и на плаву с плотами тонули и в полон взяты; да и про домашний свой обиход для дров и сена и травы их посылал же; их же посылал на овощные и селитряные струги для караула и на работу до Царицына и до Саратова и до Сызрану без прогонных денег. А полковники и начальные люди немцы, ругаючись христианству, многие тягости им чинили и безвинно били и в службах по постным дням мясо есть заставляли и всякое ругательство женам их и детям чинили, а воевода Ржевский по челобитью их указу не чинил. Он же, Ржевский, велел брать крепостных дел подьячим сверх указу лишних денег и те деньги брал себе, и о тех поборах к Москве и в Казань посылали они челобитчиков, а указу о том не учинено, а о вышеписанных всех обидах хотели они для челобитья из Астрахани послать, и их не пустили. Да Ржевский же в Караганской бусе с головою Голочаловым да с Мещаряком был в паю. А шведов-полоняников, которые присланы к селитряному варенью в работу, мимо учиненных начальных людей, ставил собою в начальные люди, и у яхт и у мшанов были в матросах, и от них были русским людям налоги горше иных начальных людей. Полковник Дивигней (Девинь) с иноземцы начальными людьми брали к себе насильством из служилых домовных людей в деньщики и заставляли делать самые нечистые работы, они и жены их по щекам и палками били, и кто придет бить челом, и полковник челобитчиков бил и увечил насмерть и велел им и женам и детям их делать немецкое платье безвременно, и они дома свои продавали и образа св. закладывали, и усы и бороды брил и щипками рвал насильством».

12 февраля приехал Кисельников с челобитчиками в Москву. Чтение повинной и рассказы челобитчиков произвели такое сильное впечатление на боярина Головина, что он решился просить царя о безусловном помиловании. «Довольно говорил я с ними, – писал Головин Петру, – все кажутся верны и мужики добры. Изволь, государь, хотя себя понудить и показать к ним милость. А послать их к тебе надобно было непременно, понеже гораздо верно уверятся и во всяком страхе и послушании будут, а нам лучшие воры немного верят. *Только и в нас не без воров бывало*». Произвела ли повинная и на Петра такое же впечатление, хотел ли он поскорее покончить на востоке, по затруднительности обстоятельств на западе, или, что всего вероятнее, оба побуждения действовали одинаково сильно, – только царь послушался совета Головина и отпустил челобитчиков с грамотою, в которой заключалось всепрощение. Но умные люди в Астрахани распорядились иначе. Мы видели, как они распорядились по получении первой царской грамоты, в которой обещалось помилование народу с условием выдачи заводчиков: об этом условии астраханцы промолчали, присягнули, положили наказывать тех, кто впредь затеет что-нибудь, и под видом повинной послали царю изложение причин восстания. Как принял царь эту повинную – они не знали, а между тем Шереметев приближался с войском, которого не было и трех тысяч, следовательно, можно было надеяться на удачное сопротивление; удача доставить союзников, и, как видно, у заводчиков почему-то не исчезла надежда на возможность похода к Москве.

Шереметев достиг Казани в конце 1705 года; здесь почему-то ему очень не понравилось. «Я в Казани живу, как в крымском полону, – писал он Головину, – не пишу к тебе ни о чем здешнем; желал бы я сам вас видеть; писал я к самому капитану (Петру), чтобы указал мне быть к себе; ныне подай помощи, чтобы меня взять к Москве». Зная хорошо своего фельдмаршала, тяжесть его на подъем и страсть бывать в Москве под каким бы то ни было предлогом, капитан послал к нему сержанта Щепотева с письмом (от 10 января): «Указ посылаю ныне к вам с сержантом господином Щепотевым, которому велено быть при вас на некоторое время, и, что он вам будет доносить, извольте чинить». Щепотеву был дан наказ: объявить фельдмаршалу, чтоб: «1) оставить в Казани Афанасия Дмитриева, да с ним конных 1000 человек из дворян, из иноземцев и из новокрещеных, да мурз 500 человек, поместных добрых, да пеших полк, который придет с Москвы, да Казанский полк 500 человек. 2) Самому с достальными со всеми идти, и конечно сим путем дойти до Саратова и стать в Саратове, расставить в удобных местах войско до весны; также полк послать (кроме низовцев) в Дмитриевской, другой на Царицын. 3) Самому как возможно совсем по весне рано идти до Царицына, чтоб за довольное время предварить воровской замысл. 4) Смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и, буде за какими своими прихоти не станут делать, и станут, да медленно, говорить, и, буде не послушают, сказать, что о том писать будешь ко мне».

Головин писал Шереметеву: «Тебе, мой государь, конечно надлежит быть в Саратове, чтобы его величество не раздражать». Шереметев двинулся. Но Петр не ограничился одним этим движением и 1 февраля писал Головину, чтоб послать в Казань морскую команду, выбрать там 5 судов, поставить на них по 12 или по 8 пушек и тотчас по взломании льду сплыть к Царицыну и стать там на якорях выше разделения Ахтубского: суда эти, писал Петр, лучше 10000 войска могут воров вверх не пропустить; царь приказывал также, чтоб половина морских офицеров, посылаемых к Царицыну, умела по-русски; с Саратова жилых половину, пришлых всех выслать в Польшу; половину синбирян, сызранцев, дмитриевцев выслать и поставить на станции по замосковным городам.

Чтобы уничтожить или по крайней мере ослабить главную причину неудовольствия, Петр дал следующий указ доверенному человеку, казанскому вице-губернатору Никите Кудрявцеву: «Во всех низовых городах ведать податями и собирать, також и сымать оные или паки наложить ради нынешнего там смятения астраханского, и сие чинить, смотря по времени, месту и людям, и всячески тшиться, чтоб утешать, и ниоткуда для сборов податей указу ничьего не слушать, а что невозможно будет делать, об указе писать ко мне и в том тшиться с таким прилежанием, как богу и здешнему суду добрый ответ дать». Насчет черноморцев писал Головину: «Буде черноморцы с донскими козаками уговорятся в том, чтоб их вину простить, велеть уговаривать». На вопрос Щепотева: «Что доброе сделается на Черном Яру, что с ними делать?» – отвечал: «Кроме прощенья и по-старому быть, иного ничего; также и везде не дерзайте ни точию делом, ни словом жестоким к ним поступать под опасением живота».

Черноморцы покорились, хотя не искренно. Шереметев обошелся с ними сурово и велел отобрать оружие. «У черноморцев, – писал Петр, – вы ружье отбирали напрасно, и удивляюсь, что просите указу, что делать с (черноморцами) зачинателями и с астраханцами, ежели покорятся? К вам многократно от меня и от г. адмирала (Головина) писано: конечно всех милостию и прощением вин обнадеживать, и, взяв Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить, и черноморцам ныне объявить, что ружье у них отобрано только до тех мест, пока и астраханцы покорятся и вину принесут, и тогда по-прежнему то ружье им отдано будет, и привести их ко кресту в верности, а и зачинщиков причинных ничем не озлоблять и только их перепоручить и дать им жить на свободе, и всяко тшиться, чтоб ласкою их привлечь и чтоб они о своем состоянии писали и к астраханцам, и под Астраханью без самой крайней нужды никакого жестокого и неприятельского поступка не воспринимать, и то ежели разве они по приезде

своих челобитчиков и по получении нашей грамоты и по многим твоим добродетельным присылкам весьма упорны явятся и не покорятся, чего мы, по отпискам их к тебе, быти не чаем».

Случилось последнее, чего не чаял Петр. Головин дал ему знать, что у астраханцев «не без шалости: только, государь, с помощью вышнего, в сем не изволь сомневаться; лучшее разве то воры себе учинят, что разбегутся (хоть к черту истинно и в Аграхани в два лета все исчезнут), а если им возмущать и бежать на Дон, ей, никогда не пристанут, и милостию твоею козаки довольны и верны». Астраханцы не побежали на Дон, но не побежали и на Аграхань. 9 марта выехали из Астрахани навстречу к Шереметеву, к урочищу Кичибурскому Яру, Спасского монастыря архимандрит Антоний и с ним четыре человека астраханцев; они подали фельдмаршалу письма от митрополита Самсона и от Георгия Дашкова. Этот Георгий Дашков был строитель астраханского Троицкого монастыря, присланный туда из большого Троицкого Сергиева монастыря, от которого астраханский зависел. Дашков в последнее время отличался своею ревностию в увещании бунтовщиков и играл главную роль между духовными лицами, потому что митрополит от старости был очень слаб. Дашков также постоянно переписывался с Шереметевым и теперь с Антонием писал, что в Астрахани началось снова смятение и несогласие, одни остаются верны, другие опять склонны к возмущению, и от того между ними распря; Дашков просил, чтоб Шереметев скорее шел в Астрахань.

Против урочища Коровьи Луки на Волге, в 30 верстах от Астрахани, встретили Шереметева Воскресенского монастыря архимандрит Рувим, Георгий Дашков, стрелецкие пятидесятники и десятники, армяне, индейцы, бухарцы, юртовские татары, человек с сорок, и объявили, что весь народ астраханский готов его встретить. Шереметев отвечал, что государь их простил и чтоб они вины свои заслужили. Но, как видно, с удалением людей, противных бунту, Яков Носов с товарищами осилили. Когда приехал в Астрахань посланный Шереметевым с письмом к старшине сызранец посадский человек Данила Бородулин, то в кругу Яков Носов, по многих разговорах, сидя перед кругом за столом, говорил посланному: «Здесь стали за правду и за христианскую веру, коли-нибудь нам всем умереть будет, да не вовсе бы и не всякой так, как ныне нареченный царь, который называется царем, а христианскую веру порушил: он уже умер. душою и телом, не всякому бы так умереть». В это время в кругу читали присланное из Черного Яра письмо, чтоб на Черный Яр прислать силы на помощь, ибо идет с войском князь Петр Хованский. Во время чтения Носов, опершись локтем на коробью и наклонясь, говорил Бородулину тихонько: «Ведь мы не просто зачали! Это дело великое: есть у нас в Астрахани со многих городов люди, и не одно черноморское письмо, есть у нас письмо из Московского государства от столпа от сущих христиан, которые стоят за веру ж христианскую». Бородулин побоялся спросить его, кто писал? потому что тут обступили их со всех сторон и расспрашивали с криком. Потом принесли в круг хлеба, вина, пива; Носов поднес Бородулину ковш вина, тот принял и сказал: «Дай боже благочестивому государю многолетно и благополучно здравствовать!» На это отозвался старшина, московский стрелец Иван Луковников: «Какой он государь благочестивый! Он неочесливый, полатынил всю нашу христианскую веру!» Бородулин заметил Носову, зачем старшина такие нечестивые слова говорит? Носов, рассмеявшись, отвечал: «Не все перенять, что по Волге плывет: мужик он простой, что видит, то и бредит». В то же время в кругу раздавались крики: поносили государя всякими бранными словами: «Не сила божия ему помогает, ересями он силен, христианскую веру обругал и облатынил, обменный он царь. Идти ли нам, нет ли до самой столицы, до родни его до Немецкой слободы и корень бы весь вывести; все те ереси от еретика, от Александра Меншикова». На третий или на четвертый день Носов с старшинами пришли к Бородулину на постоялый двор и потчевали его вином; Бородулин, взявши ковш, говорил: «Дай, господи, великому государю на много лет здравствовать» и, выпив, стал подносить Носову, но тот отвечал: «Я про его здоровье пить не стану: как нам пить про такого православных христиан ругателя? Что вы не образумитесь? Ведь вы и все пропали, обольстили вас начальные люди милостию, пропали вы душою и телом». На отпуске

Носов говорил Бородулину: «Бог тебе в помощь, поезжай! Вот тебе подводы; управляйтесь с князьями и боярами, а в городах с воеводами, на весну и мы к вам будем».

11 марта Шереметев ночевал на Долгом острове, в 10 верстах от Астрахани; сюда приехали из города бурмистры и донесли, что они ушли, а в Астрахани стрельцы волнуются и не хотят пускать фельдмаршала в город. Шереметев придвинулся еще ближе к Астрахани и с Балдинского острова (в 2 верстах от города) послал письмо, чтоб перестали бунтовать. Ответа не было, а пришло несколько дворян с вестию, что астраханцы из слобод перебрались в город, расставили и зарядили пушки, собрали гулящих людей, роздали им ружья и порох и написали между собою письма, что стоят всем вместе. Оставленные жителями слободы стали гореть. Тогда Шереметев послал полк в Ивановский монастырь, чтоб спасти его и хлебные магазины, находившиеся подле монастыря. 12 марта Шереметев сам приехал в монастырь: бунтовщики начали приступать к монастырю и кинули три бомбы, но Шереметев отбил их и послал за остальным войском. Когда оно пришло и начало строиться, то бунтовщики вышли на вылазку за реку Кутумову. Царские войска дали залп; бунтовщики побежали, покинув пушки и знамена, засели в Земляном городе и начали стрелять с вала. Солдаты взяли вал приступом и гнались за бунтовщиками до Каменного города к самым Вознесенским воротам, побрали пушки и мортиры. Так как бунтовщики жестоко отстреливались из Кремля, то Шереметев велел полкам отступить от него и расставил их в Земляном городе по улицам и отсюда велел метать бомбы в Кремль, а между тем послал к осажденным увещание к сдаче. Вечером того же 12 числа вышли из Кремля пятидесятники и десятники с повинною, а на другой день, 13 марта, вышли старшины – Яков Носов и только что перед тем выбранный атаман из донских казаков Елисей Зиновьев с просьбою о прощении. Шереметев велел всем положить оружие, а печать и ключи отдать митрополиту; все это было исполнено; бунтовщики вынесли даже к воротам топор и плаху. Того же 13 марта Шереметев пошел строем в Кремль; когда он шел, то по обеим сторонам улицы астраханцы лежали на земле. У ворот кремлевских встретил победителя митрополит, и пошли все в собор для благодарственного молебствия.

Взятие Астрахани стоило Шереметеву 20 человек убитыми и 53 ранеными. Бунт был сломлен, но заводчики ходили по воле: Шереметев боялся без указа перехватить их и писал Головину: «Здесьний народ учинил то все от неволи, и, конечно, надобно, чтоб здесь было людей (воинских) больше старого, а Носов великий вор и раскольник, и ныне при нем все его боятся и в шапке с ним никто говорить не может, и надобно его и других заводчиков и Яхтинский полк вывести к Москве: то здешние люди успокоятся и об них тужить на будут. Московского полка бунтовали немногие; только есть из них заводчики, а я без указа выслать их не смею, и надобно вскоре указ о том выслать, а как вода разольется, боюсь, чтоб не разбежались, а удержать их нельзя. Я такого множества и сумасбродного люду от роду не видал, и надуты страшною злобою, и весьма нас имеют за отпадших от благочестия. Как надуты и утверждены в такой безделице!»

Участники бунта были перехвачены и отправлены в Москву: здесь их колесовано, казнено и умерло во время продолжительного розыска 365 человек.

Требуя указа насчет зачинщиков бунта, Шереметев в то же время жаловался на сержанта Щепотева, который имел неосторожность отправиться в Астрахань прежде Шереметева, был захвачен бунтовщиками и сидел с ними вместе в Кремле 12 марта. Шереметев писал об нем Головину: «Как Михайла Щепотев сидел у них в городе, и они чаяли, что он-то и пуций будет в промыслу и бомбардир: для того больше и держались. А как я вошел в город и пришел на свой двор, и он, Михайла, говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть, и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал. И я не знаю, что делать? А за грехи мои припала мне болезнь ножная: не могу ходить ни в сапогах, ни в башмаках, а лечиться здесь не у кого. Пожалуй, не остави меня здесь». Потом писал: «Если мне здесь прожить, прошу, чтоб Михайла Щепотева от меня взять. Всенародно говорит, что хочет меня государю огласить, не знаю чем,

и с Александром Даниловичем ссорить, и говорит: „Я де тебя с ним помирю“, и непрестанно пьян. Боюсь, чтоб надо мною не учинил; ракеты денно и ночью пускает: опасно, чтоб города не выжег». А Щепотев писал царю: «Извествую милости твоей: по указу твоему я господину фельдмаршалу кое о каких нуждах, которые надлежит исправлять, наипаче к опасению твоих государевых сборов, чтобы утраты не было, доносил, и его милость сказал мне: „Я твоих слов слушать не хочу, и впредь с такими доносительными словами ко мне не ходи“. И я ему то доносил, что я стану до вашей милости писать, и он мне велел о том до вашей милости писать и отпускал меня из Астрахани к милости твоей, и я не смею ехать. Да который дьяк обретается у фельдмаршала, приличился во взятках, и я ему, фельдмаршалу, про те взятки доносил, чтоб розыскать, и он, фельдмаршал, про него не розыскивает и приказал в Астрахани ему, дьяку, приход и расход таможенный и кабацкий и раздачу животов, которые граблены были, и, как животы раздадут, фельдмаршал меня не призывает».

Петр не выдал Щепотева Шереметеву и не умалил значения шереметевского дела вследствие донесений Щепотева. В ответ на извещение о взятии Астрахани он писал фельдмаршалу: «Письма ваши принял и за неизреченную Божию милость господя бога благодарил с изрядным триумфом, которою викториею над сими проклятыми ворами вам, яко виновным оной виктории, поздравляем; за который ваш труд господь бог вам заплатит, и мы не оставим». Это неоставление заключалось в денежном окладе и пожаловании более 2400 дворов; сын Шереметева был назначен из комнатных стольников в полковники. Когда Меншиков объявил Шереметеву царскую милость, то фельдмаршал был очень весел и обещался больше на болеть. Но и Щепотев получил от государя также письмо: «Благодарствуем вам за ваши труды и прочее. По получении сего письма вы поезжайте к нам наперед тогда, как фельдмаршал с полками из Астрахани к Смоленску пойдет». По отъезде Шереметева управлять успокоенною Астраханью назначен был князь Петр Ив. Хованский.

Астраханский бунт, ограниченный одною местностью, нетрудно было затушить, когда донские козаки не дали ему разгореться. Мы видели причину этому; видели, как Петр был приятно изумлен невмешательством козаков, тем более что вести о волнениях на Дону не переставали приходить в Москву. Летом 1700 года дано было знать с персидской границы, что козаки, которые, учиня воровство, побежали с Дону к персидским границам человек с 500, осажены от тамошних разных владельцев близ Каспийского моря, а которые из них вышли было на море для воровства над торговыми судами, разобраны ратными людьми, высланными из Астрахани. В том же году стольник и воевода князь Петр Дашков дал знать с Камышенки, что, собравшись, воровские козаки пришли под табуны и отогнали у ратных людей много лошадей. Воевода послал за ворами отряд войска, который отбил лошадей и захватил четырех воров; в расспросе и с пыток воры сказали: пошли они в прошлых годах из дворцовых сел, а в нынешнем 1700 году зимою с Медведицы городка Чернагая козак Нестерко Зиновьев прибрал к себе воров из разных козачьих городков и стал с ними станом на реке Медведице в луке, откуда посылал отгонять лошадей из полку князя Дашкова; на этих лошадях хотел атаман Нестерко ехать по городкам, по Медведице и Дону, звать вольницу и ехать на Аграхань через степь к козаку Костке Иванову, который прежде был в Паншине атаманом: присылал Костка товарища своего Губана с Аграхани на Дон для подговору в разные козачьи городки; в совете были и хотели идти на Аграхань поп Максимка Григорьев, Филка Архипов, прозвище Кисельная Борода, и множество других козаков из разных мест; умышляли – пришед на Аграхань, выходить на море и на Волгу-реку под Царицын для воровства и разоренья всяких людей и стругов. Прежний вор и раскольщик Митька Татаркин, который жил на Медведице в раскольничьем городке и ушел оттуда во время приходу государевых людей, теперь живет на Медведице же, в Черкасове, в юртовских гулебных станах, с товарищами, человек с 20, с женами и детьми, и к нему писали с Дону из Черкаского о совете два козака, чтоб им, соединясь, идти на Аграхань для воровства; Митька всем им велел готовиться, и к воровскому походу теперь готовы и хотят идти много-

людством, а как он, Митька, пойдет, и от него во всех верховых козачьих городках немногие люди останутся, потому что к его воровству все пристанут и слушают его во всем.

На это известие о воровских замыслах государь отвечал указом: «От великого государя на Дон войсковому атаману Илье Григорьеву и всему Войску Донскому: указали мы вам сего настоящего лета верховых донских городков козаков, которые живут по Хопру и Медведице и по разным рекам, перевести и поселить по двум дорогам к Азову, одних до Валуйки, а других от Рыбного к Азову же, чтоб те оба пути впредь были населены и жилы, а буде вы, атаманы и козаки, нынешнего лета козаков не сведете и не поселите, и по нашему указу те хоперские и медведицкие козаки поселены будут в иных местах».

Ненависть к боярству, склонность к самозванцам не переставала проглядывать на Дону. В августе 1701 года велено было взять в Преображенский приказ с Дону козаков: городка Тишанки Андрея Поминова с матерью, Левку Сметанина, городка Нижнего Чиру Игнатку Пчелинца. Левка говорил: «Царь Иван Алексеевич жив и живет в Иерусалиме для того, что бояре воровуют; царь Петр полюбил бояр, а царь Иван чернь полюбил. Сказывал Левке про царя Ивана пришлый человек Авилка, который живет на реке Калитве Белой, впадающей в Донец; пришел Авилка Из Иерусалима, и донские козаки почитают его за святого, потому что он им пророчествует: в первый Азовский поход сказал, что Азова не возьмут, а во второй сказал, что возьмут; Авилка держится раскола». Пчелинец говорил про Петра: «Он не царь, антихрист; царица Наталья родила царевну, девицу, а вместо той царевны своровали бояре, подменили иноземца, Францова сына Лефорта». Козак Назарка Смирной говорил: «Азову за государем не долго быть: донские козаки, взяв его, передадутся к турецкому султану по-прежнему».

Недовольные козаки говорили: «Теперь нам на Дону от государя тесно становится; как он будет на Дон, мы его приберем в руки и отдадим турецкому султану, а прибрать его в руки нам и малыми людьми свободно: ходит он по Дону в шляпке с малыми людьми». Таким образом, сами недовольные признавались, что у них мало людей. Это малолюдство и давало донской старшине возможность прибирать их в руки при малейшем движении; это-то малолюдство дало старшине возможность удержать Дон от участия в астраханском бунте.

На западной Украине козаки также не давали покою. Гетман Мазепа слал письмо за письмом о запорожских поведеньях. «О злом намерении проклятых запорожцев мало не чрез всякого гонца моего и чуть не чрез всякую почту как великому государю, так и вашей вельможности я писал, а никакого ответа не имею», – писал Мазепа Головину. «Не так страшны они, запорожцы, понеже малое их собрание, и не так страшны пересылки с ними хана крымского, как то зело рассуждати надобно, что чуть не вся Украина тем же запорожским духом дышет, понеже обыкность та, что народ посполитый своеволю любит, и всякий под властью пребывающий желает оной над собою не имети». Мазепа доносил, что запорожцы заключили союз с юртом Крымским, будучи особенно недовольны тем, что подле них царь строит крепость Каменный Затон.

Для объяснений по этим делам поехал к гетману знаменитый прибыльщик Курбатов, и Мазепа объявил ему, что в Каменный Затон необходимо сейчас же прислать два или три полка доброй пехоты на случай соединения запорожцев с ханом крымским: задержанных в Москве запорожцев и жалованье прислать к нему, гетману, или в Севск, чтоб можно было отослать их немедленно же в Запорожье, если запорожцы усмирятся, а после думать, как наказать их за прежние преступления. Изгнать запорожцев из жилищ их или привести в совершенное покорение трудно, во-1) потому, что если сядут в Сече в числе 5000, то идти на них надобно будет генеральною войною, что ныне невозможно, а Белгородским разрядом их не прогнать. Во-2) будет им помощь от хана. В-3) если, испугавшись большого войска, выйдут из Сечи, то пойдут во владения хана, поселятся на Кардашине, в низ Днепра к морю, или в прогнях, пущее разорение будут чинить, и иные к ним будут перебегать, а что турки хотят войны – это ясно, потому что без их позволения хан не заключил бы с запорожцами союза. Предложение было

принято, задержанные запорожцы отпущены в Сечь. На Запорожье поехал стольник Протасьев с жалованьем и с требованием, чтоб запорожцы присягнули на верность великому государю. Козаки объявили Протасьеву, что им креста целовать не для чего, потому что они великому государю крест целовали прежде и потом не изменяли, хану крымскому никогда не присягали и посылали к нему не для измены, а для того, что прежде они знали, зачем ходили посланники из Москвы к туркам и в Крым, а теперь ни о чем не знают: ходят послы из Москвы и от гетмана в Турцию и в Крым мимо Сечи; для того они и посылали в Крым, чтоб подлинно обо всем осведомиться. Протасьев настаивал, чтоб целовали крест. «Присягнем тогда, – отвечали запорожцы, – когда прикажет великий государь снести Каменный Затон и подтвердит грамотою права наши на земли по Днепру и Самаре». Все старания Протасьева привести их к присяге остались тщетными. По этому случаю Мазепа писал Головину: «Вижу, дондеже того проклятого пса, кошевого Кости Гордеенка, не станет, по тех мест не надеяться к твердой и всецелой от запорожцев верности. Не знаю, какой другой изобрести способ, дабы не токмо того безбожного тот уряд, но и дни его прекратить. Ныне паки пишу к желательным моим в Сечь, желая, чтоб сыскался и поднялся такой человек, дабы его, проклятого пса, не стало». Царь велел Мазепе приехать в Москву, а до тех пор не делать запорожцам никаких тяжких насилий.

Желание гетмана исполнилось: в июле 1703 года он писал Головину: «Слава господу богу! радением и неусыпным моим старанием проклятый пес Костя кошевой если не испустил проклятой своей души, то по крайней мере с кошеводства с бесчестием скинут; понеже все посольство на него восстало за то, что с разбойниками знался и добычу у них брал, и если б из Сечи в луга не ушел, то, конечно, не был бы жив. После сего побега выбрали в кошевые Герасима Крысу, и теперь можно надеяться, что войско низовое будет в надлежащем великому государю послушании». Но радость гетмана была непродолжительна: в сентябре он уже писал Головину: «Запорожцы своим желательством ко мне вновь отозвались: не только бедных людей селитренные майданы, нечаянно напав, совсем разорили, но и мой, гетманский, до основания снесли и учинили мне убытку на 8000 рублей. Не знаю, что с такими бездушниками впредь делать, понеже их никаким способом, ни милостию, ни дачами, ни вольностию, не можно усмирить». Новый кошевой сокрушается, что не может исполнить своего обещания, данного в Москве и в Батурине: со всех сторон прибывающее гультайство над постоянным, добрым товариществом взяло силу и похваляется Новобогородицкий и другие городки разорять. В декабре новые вести: Крысу сменили и на его место снова выбрали Костю Гордеенка, который в начале 1704 года объявил прямо царскому посланцу: «Каменнозатонский воевода Шеншин чинит нам всякие обиды, лошадей отнимает, меня и все посольство бранит и называет подданными своими, всячески угрожает, говорит, будто солдаты, бегая из Каменного Затона, живут у нас в Сече. Но у нас таких беглых солдат в Сече нет, а хотя б и были, то у нас издревле такое поведение: кто придет, тех принимаем, и, кто захочет, тот у нас живет. Да он же, воевода, присылает на кош людей своих для проводывания, что между нами чинится, а у нас мало ли какие есть пьяные козаки, говорят, кто что хочет, и того слушать у них нечего, да он же, воевода, держит нашего запорожского козака в колодке безвинно. И если он, воевода, и впредь будет так делать, то нам уже терпеть больше будет нельзя; чтоб от его злых поступков не учинилось какого возмущения, которое может обхватить и весь север, не возмутить бы этим и всю Малую Россию».

Прошел год, и у Мазепы старые песни.

8 января 1705 года гетман писал Головину: «Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдадут, что имею с теми собаками чинити? А все то приходит от проклятого пса кошевого, который такую в себе хитрость имеет, что всегда, собрав к себе сначала атаманов, приватно переговорит, потом раду собирает, в которой, будучи наполнены его духом, то кричат и говорят, что им велит; для отмщения ему разных уже искал я способов, чтоб не только в Сечи, но и на свете не был, но не могу найти, а все от дальнего расстояния и некому поверить».

Не об одних запорожцах писал Мазепа тревожные донесения. В 1703 году он говорил наедине присланному к нему переводчику Посольского приказа Белецкому: «Полтавский полковник Иван Искра имел тайную корреспонденцию и согласие с ханом крымским и беим перекопским, и уже было полк свой, кроме старшины, к тому наклонил, чтоб быть в согласии с Крымом, а великому государю противными. Узнавши об этом, я тотчас его от полку отлучил тайным способом, не оскорбляя его ничем, как будто на время, не давая знать никому, за какое преступление; явным способом и в скорости взять его и карать невозможно для козаков того полка, имеющих с ним одно намерение, дабы не учинилось от того полка меж народом малороссийским какого замешания при нынешнем опасном времени, потому что теперь у всей малороссийской Украины зело отпало сердце к великому государю».

Глава третья

Продолжение царствования Петра I Алексеевича

Два фельдмаршала. – Петр в Полоцке. – Происшествие в униатском монастыре. – Поражение Шереметева при Гемауертгофе. – Петр в Курляндии. – Огильви и Меншиков. – Паткуль в Саксонии. – Дело о передаче русских войск в австрийскую службу. – Паткуль схвачен саксонскими министрами и заключен в Зоннентейн. – Посольство Шенбека к царю с объяснениями по этому делу. – Поход Карла XII в Литву. – Зимовка русского войска в Гродно. – Выступление его оттуда. – Увольнение Огильви. – Петр и Меншиков в Киеве. – Неудачная осада Выборга. – Битва при Калише. – Король Август заключает отдельный мир с Карлом XII. – Петр в Жолкве. – Сношения с польскими вельможами и кандидатами на польский престол. – Матвеев в Англии. – Предложение герцогу Марльборо русского княжества. – Сношения с Францией и Австрией. – Петр предлагает польский престол принцу Евгению Савойскому. – Деятельность Толстого в Константинополе. – Посольство князя Куракина в Рим. Приготовления Петра к встрече неприятеля в России. – Башкирский бунт. – Булавинский бунт.

Встретивши Новый, 1705 год в Москве, Петр в феврале отправился в Воронеж, где провёл два месяца, спустил 80-пушечный корабль «Старый Дуб», велел Апраксину к будущей весне приготовить десятка два с лишком судов и в конце апреля возвратился в Москву; здесь был задержан сильною лихорадкою и в самом конце мая отправился в Полоцк, где уже было собрано большое русское войско – тысяч шестьдесят. У Петра было два фельдмаршала – Шереметев и Огильви. Последнему хотелось быть одному главнокомандующим, но это было противно основной мысли Петра – не давать иностранцу главного начальства, упражнять своих, и он разделил войско между двумя фельдмаршалами. Огильви был очень недоволен; князь Репнин писал Меншикову: «Слышал я неподлинно, будто господин фельдмаршал писал о разорении от наших войск к полякам; истинно не могу я признать, какого нраву стал человек перед прошлым годом; зело неприступен, живет в кляшторе езувицком, и по всяк час они у него. Дай боже, милость твоя к нам изволит приехать и все сам увидит. А разорения поляков, если б какое было, милость твоя уже давно сам здесь изволил бы слышать и видеть». Но кто бы ни были вожди и как ни расхваливали иностранцы русское войско, Петр требовал одного, чтоб отнюдь не давали генерального боя шведам.

Петр начал в Полоцке очень весело: приходили известия, как шведам не удалось напасть на Петербург с моря и сухого пути. Но окончилось пребывание в Полоцке печальным происшествием. Петр был раздражен против униатского духовенства, которое имело тайные сношения с шведами и сапежинцами ко вреду русского войска: один из монахов, бывший прежде православным, отличался сильными выходками против русских, возбуждал народ к тайному побиению царских солдат, бранил Петра и короля Августа. Петр молчал, потому что считал неблагоприятным, вступая союзником во владения республики, начать преследованием униатов и тем возбудить подозрение в правительстве и католическом народонаселении Литвы и Польши. Но судьба хотела иначе. Вечером 30 июня, накануне отъезда из Полоцка, он зашел с своими приближенными посмотреть униатский монастырь. Масло было подито в огонь, уже существовавшее раздражение усилилось, когда монахи не пустили его в алтарь как противника их веры. Петр сдержался, однако, и тут. Увидавши образ, отличавшийся особенными украшениями, он спросил: «Чей это образ?» Монахи отвечали: «Священномученика нашего Иоса-

фата (Кунцевича), которого ваши единоверцы умертвили». Тут Петр уже не выдержал и велел своим приближенным схватить монахов. Но монахи, видя малочисленность царской свиты, не сдались, начали кричать о помощи, сбежались послушники вооруженные, началась свалка, и некоторые из царских приближенных были ранены; наконец русские одолели, четверо униатов были смертельно ранены. В этой схватке раздражение Петра достигло высшей степени, и он велел повесить монаха, отличавшегося своими выходками против него в проповедях. Этим печальным событием воспользовались, с одной стороны, католики, не преминувшие раскрасить его своими красками; с другой стороны, внутренние враги Петра, которые также раскрасили событие своими красками: в 1708 году каторжный колодник, бывший солдат Иван Архипов, говорил: когда Петр был в Полоцке, и в то время день Петра и Павла пришелся в пятницу; государь заставлял благочестивой веры чернецов есть мясо; они не согласились, Петр позвал их в церковь молебен слушать, и как стали молебен служить, государь вынул палаш и двух человек убил до смерти, третьего ранил. В это время было видение: Иисус Христос в облаках, держа в одной руке копьё, в другой огненные стрелы, говорил с гневом: «Время его за такое дело покарать!» Но богородица упростила ждать покаяния.

1 июля царь вместе с полками отправился из Полоцка в Вильно, отпустивши за несколько дней Шереметева против шведов, находившихся в Курляндии под начальством генерала Левенгаупта. 22 июля царь получил известие, что Шереметев разбит при Мурмызе, или Гемауертгофе, 15 июля: Шереметев, русский фельдмаршал, которого имя было связано с первыми успехами над страшными шведами, русский фельдмаршал, которого Петр решился поставить рядом с рекомендованным за границую Огильви! «Сия потеря, – по словам Петра, – учинилась таким образом: фельдмаршал Шереметев с кавалериею, когда приблизился к неприятелю, а пехота и пушки еще не спели, тогда, не дождавсь оных, старым обычаем бесстройно ударили на неприятельскую кавалерию, которую так сломили, что некоторые из них явились в Прусах: тогда генерал Левенгоупт с пехотою отступил к лесу, и наши вместо того, чтоб дожидаться пехоты и атаковать неприятельскую пехоту, ударились обоз грабить неприятельский, а тем временем наша пехота приспела, которую Левенгоупт атаковал и с поля сбил, а кавалерия, увидя то, ушла, а пушки наши неприятель назавтрее нашел. И тако сами своей потери виноваты». Это известие составлено не очень удачно: выражение «старым обычаем бесстройно» скорее может относиться к последующему, чем к начальному, действию русской конницы, ибо хотя она ударила и старым обычаем бесстройно, однако сломила неприятеля; преобразователь не удержался от желания укорить старый обычай. Но преобразователь не изменил своему величию в ответе Шереметеву; здесь он стал в уровень с тем великим народом древности, который благодарил своих разбитых полководцев за то, что они не отчаялись в спасении республики. Петр писал Шереметеву: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободрять».

1 августа Петр выступил из Вильны в Курляндию: ему хотелось перенять Левенгаупта, которого Шереметев должен был отрезать от Риги. С этою целию он послал Шереметеву наказ: «Пойти как можно скорее и отрезать неприятеля от Риги; отрезав, отнюдь бою не давать, но на переправах держать, а если сильно захотят перейти, то закопать пред собою, чтоб им конечно пресечь путь, и на каждый день посылать к нам письма, что чиниться будет, чтоб нам о всем быть известным, и потому немедленно спешать. Сказать всем под смертью, чтоб по тем статьям делали, каковы даны 703 году, когда шли на Кронгиорта; також отнюдь бы не скакать за неприятелем, хотя оный бежать будет, но шагом или по нужде малою грудью, под смертью же». Поручение было трудное; Шереметев отвечал: «Тебе, государю, известно, что неприятель с пехотою и пушками: если пойдет на нас всею силою, как будем управляться с фузеями против пушек? А у меня никаких окопных припасов нет: все отосланы с пехотными полками в Полоцк». Но дело не дошло до управления с фузеями против пушек: Левенгаупт успел перебраться за Двину к Риге, к большому неудовольствию Петра, который писал Головину: «Мы

здесь великое несчастье имеем, понеже господин Леингопт, яко Нарциз от Эхо, от нас удаляется».

Приказавши Шереметеву сторожить шведов на левом берегу Двины против Риги, Петр пошел отобрать у них Митаву. После семнадцатидневной осады шведы сдали столицу Курляндии 2 сентября, вслед за тем сдали Бауск. Петр писал о Митаве Ромодановскому: «Сие место великой есть важности: понеже неприятель от Лифлянд уже весьма отрезан и нам далее в Польшу поход безопасен есть».

Мы видели, что в Митаве Петр получил известие об астраханском бунте, вследствие чего один из фельдмаршалов, Шереметев, был отправлен на восток. Но от этого другому фельдмаршалу, Огильви, оставшемуся теперь единственным в западной армии, не стало легче: при войске находился любимец государя *принц* Александр, т.е. Меншиков, к которому все обращались, особенно русские генералы, и которому Петр доверял больше, чем иностранному наемнику. Разногласие между Огильви и Меншиковым началось по поводу выбора места для зимних квартир. Огильви самым удобным местом казался Меречь, Меншикову Гродно, как более укрепленный природою, где и с небольшими силами можно долго держаться против неприятеля; Меншиков писал Петру: «Я рассуждаю: зело не рад он (Огильви) моему приезду, и все делается вопреки мне». Петр согласился с Меншиковым, и войско введено в Гродно, куда отправился из Митавы и сам царь. В октябре сюда же приехал и король Август, которому Петр дал главное начальство над войском, а сам в декабре отправился в Москву.

Таким образом, сильное русское войско введено было в Литву для соединенного действия с войсками Августа против шведов. Исполнилось то, чего так желал Паткуль, но он не радовался исполнению своего желания. Мы оставили его в Саксонии в очень затруднительном положении относительно русского войска, ему вверенного.

В Москве жалобы князя Д. М. Голицына производили впечатление, и Паткуль в начале 1705 года счел нужным оправдаться. «У меня нет намерения, – писал он Головину, – отставить всех московских начальных людей, потому что я нахожу между ними таких, которых, когда хорошо выучатся, не отдам и за многих немцев; с московским человеком лучше иметь дело, чем с немцем, потому что первый лучше знает, что такое послушание, а второй очень много рассуждает; над немцами должно наряжать большие военные суды, а москвичи в своих квартирах так покойно живут, что жалоб на них почти нет, и для всей земли они гораздо сноснее, чем свои саксонские солдаты; удивительно, что я по сие время ни одного московского солдата не предал смертной казни. Господин князь Голицын теперь лучше стал себя вести, и, ваше превосходительство, будьте благонадежны, что я с радостью ему угождаю ради его изрядной фамилии».

Вслед за этим письмом новые жалобы на худое состояние русского войска: «Мы сидим здесь в тесноте, и царского величества вспомогательные войска худую фигуру представляют, потому что почти нагие ходят и при дурном своем уборе и негодном ружье никакой службы показать не могут; русские деньги принуждены мы разменивать с большим убытком, и те скоро издержатся, и не знаю, каким способом будем содержать этих бедных людей? Король польский часто попрекает мне за такую плохую помощь, тогда как он исполняет все условия союза и наследственные свои земли разорил: я против явной истины не могу ему ничего говорить. Из Литвы приходят великие жалобы на царские войска, там стоящие; король об этом сильно скорбит и вместе с благонамеренными поляками опасается, что эти вспомогательные войска произведут ненависть и вместо ожидаемой пользы навлекут на королевскую шею беспокойство и насчастье. Ваше превосходительство требует, чтоб русским войскам скудости в провианте не было: но я уже доносил, что в здешней малой земле провианту мало и очень он дорогой; вскоре опасаются совершенного голода; офицеры продали лошадей, обоз, платье и все прочее, и часть их уже ходит по дворянским дворам и просит хлеба. Артиллерию невозможно с места сдвинуть, потому что все станки и телеги очень дурно сделаны и железом дурно окованы, очень

стары и негодны; большая часть лошадей от скудости кормов и трудного похода померли, так что до начала нового похода ни одной не останется; то же самое и с мушкатерскими лошадьми, у которых телеги все переломаны, а здесь их нельзя так дешево сделать, как на Москве, потому что ни куска дерева даром не получишь. Король еще здесь, в Дрездене, и неизвестно, скоро ли и пойдет ли когда в Польшу. Здесь по всех делах большая смута, думают только о забавах, а важные дела оставлены. Если можете, ваше превосходительство, от двора этого меня избавить, то буду вам вечно благодарен. Бог ведает, что из этого всего выйдет? Король прусский уже дважды собственноручно писал сюда к своему министру, приказывая ему меня остеречь, чтоб я не дался в обман, потому что тайно устраивается мир; я королю польскому об этом говорил, но в ответ получил одни неты. Что тогда делать, если король шведский будет нас держать в постоянной осаде и войскам царским ни за деньги, ни без денег пропитаться будет нельзя? Могу ли я тогда передать их другому государю?»

В апреле Паткуль в письме к Головину выразил отчаяние в счастливом исходе войны и угрозу покинуть царскую службу, приправив все это упреками в дурном ведении дела со стороны Петра, который не послушался его и соединил ранее свои войска с королевскими: «Ведомости отовсюда приходят, что шведский король в нынешнем году будет иметь больше 40.000 войска в Польше, и если б в прошлом году не пренебрегли соединением войск, то в нынешнем году мы бы могли иметь определенный воинский поход, а теперь мы посмотрим, что из этого будет, и кто исправит те ошибки, которые дадут себя чувствовать при окончании войны; я исполняю свое дело как добрый человек и пишу все это для того, чтоб вина не пала и на меня, когда игра будет испорчена, чего я очень боюсь, ибо дело делают не так, как следует. Паткуль имеет в мыслях выйти вон из этих танцев и оставить честь другим, которые могут лучше его делать, особенно когда при всех своих тяжких трудах он получает вместо благодарности вонь. Напоминаю, что шведов надобно в Курляндии разорять безо всякого замедления. Стыд перед целым светом, что царское войско в нынешнюю зиму ничего не сделало, и если и впредь будут поступать так же, заботиться только о многочисленных, а не об устроенных войсках, упускать удобное время и во всем опаздывать, то увидят печальное окончание этой комедии, и всякому надобно будет заботиться о себе. Паткуль просит о своем расчете и после ни о чем уже более просить не будет, это последнее его желание». Причина раздражения вскрывается в конце письма: «Ваше превосходительство пишет, что царское величество приказал капитанов и ротных офицеров из русских только употреблять, потому что русские офицеры у вас свое дело очень хорошо исполняют, и что фельдмаршал Огильви нашел русских вовсе не хуже немцев. Я сказал об этом королю, который совершенно другого мнения». Пред самую отсылкою письма Паткуль был опять страшно раздражен: король велел его спросить: для чего он доносит царю, что он, король, кроме забав, ничем на занимается. Паткуль отвечал, что, как добрый человек, не может запереться. В письме к Головину Паткуль жалуется на князя Григорья Долгорукого, который, по его мнению, из соперничества разгласил то, что Паткуль писал ему по секрету. «Я не хочу иметь с Долгоруким больше никакого дела, и не извольте поручать мне с ним вместе ничего», – писал Паткуль.

В начале августа Паткуль опять стал писать о переводе русского вспомогательного отряда в австрийскую службу в случае крайности, если никак нельзя будет вырваться из Саксонии. Тут же Паткуль давал знать о каком-то чуде, вследствие которого русское войско, находившееся в таком жалком состоянии, вдруг преобразилось в отличное. Долгорукий в письме к Головину объяснял это чудо: «Писал ко мне князь Дмитрий Голицын, что солдаты московские великую нужду в Саксонии терпят, а паче офицеры жалованья не имеют, а которое и дано было солдатам, Паткуль давать им не велел, а приказал на те деньги покупать им рубахи, галстуки, рукавицы, башмаки, чулки, а покупают иноземцы ценою дорогою, и, живучи, он, князь Димитрий, никакого себе приятеля по се время в Дрездене не имеет, и что будто саксонцы к нашей стороне мало склонны и будто с московскими офицерами гнушаются с одного блюда есть». «Король, –

писал Паткуль в конце сентября, – отнюдь не хочет позволить, чтоб вспомогательные русские войска в службу другого государя пошли; король ими чрезвычайно доволен, никто их не узнает и не поверит, чтоб это было то самое войско, которое в прошлом году сюда пришло. Но в днях большая скудость». В октябре Паткуль написал решительно: «Дайте мне окончательную резолюцию, что делать с вспомогательными войсками, потому что без денег им жить невозможно. Если мне дастся знать, что денег к ним прислано не будет, то я им это объявлю и тотчас их распушу; могут они в божие имя разбежаться; что из этого выйдет, царское величество увидит: известно, что тогда эти бедные люди принуждены будут доставать себе пропитание грабежом и разбоями и наполнят собою виселицы и колеса, к бесчестию русского народа. Вы пишете, что весною перевели сюда по векселю 40.000 ефимков, но до нас дошло только 33.000; между тем я до сих пор промышлял платья, оружие, припасы и ежедневное пропитание людей на мой кредит, но уже больше делать этого не могу, не хочу потерять кредит и честь, обанкротиться, будучи царским министром и генералом».

В следующем письме Паткуль дал знать, что Август II на днях отправляется на свидание с царем, и потому просил его съехаться с некоторыми из его верных советников и написать, чего королю домогаться у царя и каким образом надобно будет продолжать войну. Паткуль написал пункты по соглашению с королевскими министрами, но дал знать Головину, что сделал это неискренно, принужденный с волками выть по-волчьи. «Я уже открыл вашему превосходительству, – писал Паткуль, – какие причины я имею остерегаться, потому что я здесь в когтях злых людей; меня отравят или изведут каким-нибудь другим способом, если проведуют, что я неискренно потакаю их планам. Поэтому я принужден выть с этими волками, но напоминаю вам, чтоб вы особенно не полагались на артикулы: 1) о *порабощении королевства Польского*; 2) о политике с Пруссиею; 3) о намерении относительно Данцига; 4) о продолжении войны. Не верьте, хотя бы вам показывали и собственноручное мое писание. Все это химеры людей, у которых в руках дело польского короля; сам король втайне не согласен с ними, но я принужден их ласкать и соглашаться на их безумные мнения, потому что чрез них все проведываю. Король польский прежде сильно добивался самодержавия в Польше, но теперь от этого отстал, потому что война его умягчила и он был бы очень рад с честью от нее освободиться и быть в покое; теперь он видит также, как дурно ему советовали ссориться с прусским двором, и он теперь много дал бы, чтоб ему мало-помалу можно было войти с ним в дружбу. Напоминаю, что царское величество больше всего должен заботиться об истинной дружбе с королем прусским, ибо если мы с ним дружбу потеряем, то все пропадет, и вам не следует удивляться, что я этот двор так ласкаю».

Петр поручил Паткулю съездить в Берлин и скрепить дружбу России с тамошним двором. В инструкции говорилось: «Объявить, что Паткуль имеет полную мочь постановить договор, по которому прусский король принял бы сторону России и Польши и сильным посредничеством своим выхлопотал бы им благополучный и честный генеральный мир; или если швед заупрямится, то принудил бы его к тому силою и угрозою воинскою. За это царское величество обещает прусскому королю польские Пруссы (Западную Пруссию), сколько ему их будет потребно, а короля польского к уступке их уговорит, в чем тот уже склонность свою явил. Царское величество обещает также с королем прусским заключить взаимный гарантийный трактат – с своей стороны об Ингрии и Эстляндии, а с прусской о польских Пруссах – против всех наступателей и неприятелей. Если король прусский объявит, как писал к нам посланник его Кейзерлинг, что швед обещал ему больше прибыли, то обнадеживать его, что царское величество по мере возможности его пользы искать будет, и вовсе ему в том не отказывать. Если же король прусский не может или не захочет вступить в такой договор, то по нужде изволь домогаться, чтоб хотя нейтральный трактат заключить».

Паткуль поехал в Берлин и, возвратившись оттуда, писал Головину в ноябре, что король прусский хочет жить и умереть в верной дружбе с царем и готов служить ему всюду, у шве-

дов и союзников. Прусские министры горько жаловались, что в прошлом году не состоялось соглашение единственно по зависти и ненависти короля польского, который думает только об одном, как бы покончить войну с честью или бесчестьем и потом действовать против короля прусского. «Злоба в Пруссии против короля польского страшная, – писал Паткуль, – король и советники его имеют главным правилом, что ни один человек на свете не может верить королю польскому, который от своих людей и от всех potentатов считается фальшивым человеком. Я прилагал все труды к искоренению этого мнения, но напрасно и боюсь дурных последствий от такого расположения берлинского двора. Прусские министры дали мне ясно знать, что они склонны признать польским королем Станислава Лещинского, и хотели от меня проведать, как царское величество на это посмотрит. Я объявил, что не имею указа говорить об этом, но думаю, что это сильно потревожит царское величество. Когда я сказал, что все пошло бы прекрасно, если б три державы – Россия, Польша и Пруссия вступили в тесный союз, то они отвечали: как можно с королем Августом предпринять что-нибудь путное? Кроме того, что этот государь по природе непостоянен, лжив и скрытен, все его министры полушки не стоят, кто из них не плут, тот ничего не знает; как бы честно союзник с ними ни поступал, в конце непременно будет обманут. Курфиршество Сакернское так дурно управляется, что в короткое время подвергнется крайнему разорению, и король Август не способен оказать помощь своим союзникам; все дворы европейские им гнушаются, никто с ним никакого дела иметь не хочет, а потому он всеми оставлен. Видя такую ненависть к польскому королю, – продолжает Паткуль, – я принужден был обещать, что король Август, по настоянию царского величества, всех злых советников своих отставит и короля прусского во всем удовлетворит. На этом основании все примирено. Но не знаю, как я сдержу свое слово, разве царское величество приведет к тому короля польского; если же этого не сделается и король польский с прусским опять поссорятся, то не знаю, что тут делать, и пусть тогда дело идет, как хочет».

Паткуль слыл между современниками за очень умного человека: если это на самом деле было так, если смелость, хлопотливость, задор и самонадеянность не принимали за действительные способности, как часто бывало и бывает, то странно предположить, что Паткуль до такой степени не понимал прусской политики, не понимал, что Пруссия никогда не могла согласиться на усиление Саксонии, никогда не могла согласиться на деятельный союз с царем, когда царь не смыл еще с себя пятно нарвского поражения и потому считался ненадежным союзником; польские Пруссы – желанная добыча, но, чтоб получить ее, нужно было победить непобедимого шведского короля! Вместо того чтоб понять такие естественные, простые отношения и уяснить их русскому правительству, Паткуль внушает последнему, что все препятствие к прусскому союзу заключается в нерасположении прусского короля к саксонскому, и для уничтожения этого нерасположения он, Паткуль, обещал, что царь заставит короля Августа прогнать всех злых своих советников; смысл письма был таков: «Или принудить Августа отставить всех своих министров, или прусского союза вам не видать, и делайте, как сами знаете, я умываю руки». Таким образом, сильное желание царя заключить союз с Пруссией Паткуль хотел употребить как средство для свержения саксонских министров, своих непримиримых врагов. Но быть может, он был уверен, что этим он проложит путь и к прусскому союзу? Если он был в этом уверен, то современники сильно ошибались насчет его способностей.

Во всяком случае Паткуль поворачивал круто, и враги его поворотили так же круто, действуя по инстинкту самосохранения. Ненависть саксонских министров к Паткулю достигла высшей степени; не доставало только предлога отделаться от него; предлог представился в передаче Паткулем русских войск в австрийскую службу. Мы уже видели, что Паткуль представлял русскому двору необходимость этой передачи, и наконец Головин отписал ему 3 октября 1705 года: «Если после всех ваших усилий вывести русские войска из Саксонии окажется невозможным, от чего боже сохрани, в такой крайней нужде предоставьте их цесарю на возможно

выгодных условиях, но с тем, чтобы без воли царского величества они не были удержаны цесарем долее одной кампании; возвратиться же легко могут чрез Венгрию».

Не говоря ни слова о переводе в австрийскую службу, Паткуль, чтоб снять с себя ответственность, 8 ноября предложил князю Голицыну и всем начальным людям в русском войске следующее: «Так как его царское величество неоднократно повелевал указами войско все из Саксонии вывести в Польшу, то предлагается на генеральный суд: 1) каким путем идти, чрез Бранденбургскую ли землю и Великую Польшу или чрез цесарскую к Кракову? 2) Откуда взять продовольствие во время похода? 3) Который путь безопаснее, чтоб не попасться в полон? 4) Можно ли идти без конницы и откуда ее взять? 5) Не сыщется ли кто, чтоб указать лучший и безопаснейший путь в Польшу? Тому дано будет тотчас 1000 червонных и обещается повышение в чине». В ответе князя Голицына высказалось оскорбленное чувство человека, которым до сих пор пренебрегали, а теперь, в крайности, чтоб сложить с себя ответственность, спрашивают совета. Голицын отвечал: «На 1-е: совета дать не могу: дадут ли позволение и можно ли пройти? Что требует двух степеней, генеральской и министерской, которые обе вручены от царского величества вашей верности; на 2-е: есть указ царского величества, что, по договорным статьям, войска должны кормить королевские комиссары; если путь будет свободен, солдаты могут взять провианта у комиссаров и на себе нести; на 3-е: ссылаюсь на первый пункт; на 4-е: по договору должны провожать конные саксонские полки; на 5-е: не отвечаю для того: понеже не есть моя повинность в таких делах советовать за деньги». Все начальные войсковые люди объявили, что полкам пройти в Польшу невозможно.

Чрез несколько дней Паткуль снова предложил на генеральный суд: 1) удобны ли настоящие квартиры? 2) Есть ли у князя Голицына казна на пищу и одежду для войска? Тут же объявлено было повеление государя: если пройти в Польшу нельзя, то отдать войска на службу другому государю. Ответ на оба вопроса был отрицательный, и изъявлена готовность идти всюду для исполнения указа государева. 15 декабря Паткуль заключил с императорским послом в Дрездене договор, по которому русское войско передавалось в австрийскую службу на один год для опыта; употреблять его на Рейне и в Нидерландах и только в крайнем случае в Италии.

Тайный совет, управлявший Саксониею в отсутствие короля, не соглашался на эту передачу: Паткуль не соглашался отменить ее; министры нашли, по их мнению, самое верное средство прекратить вредную деятельность Паткуля: 19 декабря он был арестован и отвезен в крепость Зонненштейн. Князь Дм. Мих. Голицын подал немедленно сильный протест. Вопиющим образом нарушено было народное право, но разве оно не было нарушено, когда по совету Паткуля схватили Собеских в чужих владениях? И что ж за это было? Ничего. Расчет на безнаказанность был верен и в деле Паткуля: царь, разумеется, будет протестовать, будет требовать выдачи Паткуля, но из-за него не рассорится с королем, своим единственным и необходимым союзником, а если рассорится – тем лучше: скорее будет заключен желанный для Саксонии мир с Швециею. К царю отправился королевский камергер Шенбек, который должен был обстоятельно описать наглость всех действий Паткуля и королевское долготерпение: описать, как Паткуль не только в домашние дела королевские вмешивался, но и со всеми министрами ссорился, а некоторых офицеров так бесчестил словами, что если б те не щадили его посольского характера, то дело могло дойти до самых печальных крайностей, как, например, с графом Денгофом и генералом Шулембургом. При чужих дворах и их министрах и в партикулярных местах порицал королевские поступки и явно приказывал выдавать пасквили, что должно быть всему свету известно. Явно хвалился, что король шведский в собственноручных письмах к нему обещает исполнить все его требования. Без ведома и воли королевского и царского величества, по своему нраву или из частных выгод, перевел вспомогательные московские войска в цесарскую службу, несмотря на то что старались всячески его утолить и всякие обещания давали, а прежде только и проповедовал, что о походе в Польшу и соединении с главным царским войском, сам подписал решение об этом военного совета: для чего же он в такое короткое время отступил от

всех, своих прежних советов и мнений и пришел к пагубной мысли ослабить войска в Саксонии и вступление в Польшу сделать невозможным? Для предупреждения дальнейшего зла, для охранения нашего общего благосостояния, для прекращения опасных замыслов Паткуля принуждены были арестовать Паткуля впредь до будущего решения царского величества. Легко могло бы случиться, если бы саксонцы стали москвичей от похода удерживать, а москвичи по приказу генерала Паткуля захотели пробиться силою, то дело дошло бы до битвы, позорной в глазах неприятельских и дружеских; чтоб Паткуль не успел выдать приказа к походу, единственное средство было овладеть его особою, причем Паткуль арестован не как царский посол, но как генерал, находящийся под фельдмаршалскою командою.

Петр не был удовлетворен объяснениями Шенбека; в его убеждении поступок с Паткулем был поступок «зело жестокий, против всех прав учиненный». Головин писал ему: «Каковы, государь, я письма получил от Паткуля из-за аресту тайно писанные к тебе и ко мне, в которых пишет, оправдая себя, что будто то по указу учинил, и просит освобождения из-за аресту себе, с тех списки для донесения вашему величеству послал я к Гавриле Ивановичу (Головину), понеже у него со всего дела о заарестовании его, Паткулеве, списки обретаются, и, выписав подлинно из посланных к нему указов о перепуске войск, отметил на поле: из того изволите яснее увидеть, что он то учинил весьма противно вашего величества указу; однако ж изволишь, государь, приказать кому говорить о нем, чтоб его из-за аресту свободить и привести к тебе, и тогда он какое может оправдание о себе показать, в чем буди воля твоя». Воля Петра именно состояла в том, чтоб постоянно требовать присылки Паткуля в Россию для исследования дела, но Паткуля не прислали. Расчет саксонских министров был верен: царь должен был ограничиться одними протестами, особенно когда Карл XII обратился против русского войска.

В то время, когда Петр занимал Курляндию и сосредоточивал свое войско в Гродно, Карл XII стоял около Варшавы, где короновался его польский король Станислав. Пришла осень. Карл не двигался; король Август приехал в Гродно к Петру; царь, поруча ему свое войско, при котором были фельдмаршал Огильви и Меншиков как генерал над кавалериею, уехал в Москву. Но вдруг в конце декабря сказан был шведам зимний поход; в жестокие морозы Карл спешил к Гродно. Туда же в январе 1706 года спешил из Москвы больной Петр, встревоженный известием о походе врагах огорченный тем, что должен был оторваться от финансовых и других нужных распоряжений в Москве, где, по его словам, было «все добро, трудились во всех делах как возможно». Верный своему основному плану – бить шведов по частям для школы русским и не давать ни под каким видом генерального сражения, Петр, выезжая из Москвы, писал к Меншикову, что всего лучше войску выйти из Гродно к своим границам, чтоб не быть окружену шведскими войсками, если с Карлом соединится, с одной стороны, генерал его Реншельд из Польши, а с другой – Левенгаупт из Лифляндии. «Тогда мы, – писал Петр, – от единой нужды (в продовольствии) принуждены будем исчезнуть; того для лучше здоровое отступление, нежели отчаемое и безызвестное ожидание; того ради советую, чтоб заранее, не допуская неприятеля, уступить; також и митавское войско, по подорвании замков обоих, к себе привлечь; надлежит же и то смотреть, чтоб магазейны все, из которых уступать будут, сжечь, дабы неприятелю не достались. Того смотреть, чтоб неприятеля отнюдь не допустить зайтить сзади себя. Буде же изволите пожалеть пушек больших (которых ни пятнадцати нет), и затем для бога не раздумывайте, мочно их в Неман кинуть, а потом полковые лошади есть: ибо лучше о целости всего войска (заботиться), в чем по боге все состоит, нежели о сем малом убытке». Меншиков по письму Петра должен был выехать к нему навстречу.

Между тем 9 января в Гродно держали тайный военный совет, на котором предложены были три вопроса: 1) идти ли навстречу неприятелю и напасть на него прежде, чем он соединится с Реншельдом? 2) Или ожидать неприятеля в укреплениях в Гродно и крепко защищаться? 3) Или отступить, и куда? Два иностранных генерала русской службы объявили, что нельзя ни идти навстречу к неприятелю, ни дожидаться его в Гродно, а надобно отступить

к Полоцку; Репнин и Меншиков отвечали, что если король не соединится с Реншельдом, то дожидаться его в Гродно, если же соединится, то отступить к Полоцку. Фельдмаршал Огильви был того мнения, что во всяком случае надобно оставаться в Гродно, ибо защищаться можно до тех пор, пока саксонская армия зайдет в тыл неприятелю, отступление же к Полоцку опасно, вредно и постыдно, ибо надобно будет пожертвовать артиллериею, а по суровости погоды, и людьми, и, кроме того, отступление произведет всюду очень неблагоприятное нравственное впечатление. Таким образом, двое генералов были за безусловное отступление, двое за условное, фельдмаршал хотел оставаться во всяком случае: король решил отправить протокол совета к царю для немедленного и прямого решения. При отсылке протокола Меншиков писал царю, что только мнение двоих генералов из иностранцев, мнение, которое поддерживали еще двое польских вельмож, находившихся при короле, сдержало Огильви: иначе он чуть-чуть не решил выступить войску в глубь Польши для соединения с саксонскими войсками. «Фельдмаршал стороны саксонской, – писал Меншиков, – не изволь, государь, его писем много рассуждать и оным подлинно верить. Для бога, не изволь ни о чем сомневаться: все у нас управно; только желаем вас здесь видеть».

Но вместо Петра 13 января явился у Гродно Карл, совершивший переход от Вислы до Немана с необыкновенною быстротою. 14 он перешел Неман, прогнавши русских драгун, хотевших было мешать переправе; 15 числа шведы подступили к Гродно, вызывая русских на бой, но те не приняли вызова, ожидая приступа. Карл, не имея никакой надежды на удачный приступ, начал отступать от Гродно все на дальнейшее расстояние, побуждаемый к тому недостатком в съестных припасах, и окончательно стал в Желудке, в 70 верстах от Гродно, довольствуясь рассылкою сильных партий, чтоб не пропускать съестных припасов к русскому войску. Таким образом, это войско было отрезано от своих границ, а главное, нуждалось в провианте. Король Август, взявши четыре русских драгунских полка, ушел к Варшаве, обещая дать скорую помощь Огильви; Меншиков, исполняя приказание царя, еще прежде выехал из Гродно и встретил Петра в Дубровне. Узнавши, что шведы уже под Гродно и проехать туда нельзя, царь возвратился в Смоленск в самом печальном состоянии духа, ибо не было никаких известий, что делается в Гродно. Приказывая Головину, оставленному в Москве, распорядиться самому насчет низовых дел (астраханского бунта), Петр писал: «Письма Шереметева посылаю до вас, извольте учинить по рассмотрению, также и впредь извольте вы его дела делать (для которых я вас в Москве и оставил), ибо мне, будучи в сем аде, не точию довольно, но, ей, и чрез мочь мою сей горести. Мы за бесчастьем своим не могли проехать к войску в Гродно». В Гродно Петр написал оставшемуся там русскому генералу, князю Репнину: «Зело удивляемся, что по ся поры от вас жадной (никакой) ведомости нет, что нам зело печально; также объявляем, ежели, конечно, надеяться можно, и совершенную подлинную ведомость о приближении саксонских войск имеете, к тому же провианту месяца на три имеете и конский корм (хотя с небольшою и нуждою), то будьте у Гродни; буде же о приближении саксонских войск верного известия нет, а обнадеживают польскою правдою, то, хотя и Реншильда не чаят, и довольства в провиантах и кормах конских есть, отступить к русской границе всеконечно не испуская времени, куды удобнее и безопаснее, и сие учинить конечно, и объявить о том всем генералам, наченши от фельдмаршала; ибо неприятель уже почитай что отрезал войско наше от границ, когда идет к Вильне, и потому в Гродне ждать нечего, ежели верной ведомости о саксонцах нет, как выше объявлено: однако же все сие покладаю на ваше тамошнее рассуждение, ибо нам, так далеко будучим, невозможно указ давать, понеже пока опишемся, уже время у вас пройдет, но что к лучшему безопасению и пользе, то и чините со всякою осторожностью. Тако ж не забывайте слов господина моего товарища (т.е. Меншикова), который приказывал вам при отъезде своем, чтоб вы больше целость войска хранили, неже на иных смотрели. О пушках тяжелых не размышляйте; ежели за ними трудно отойтить будет, то, оных разорвав, в Неметь бросить».

Наконец, в феврале, когда Петр переехал в Оршу, получено письмо от Огильви. Фельдмаршал писал, что прочел царское письмо к Репнину, но не может вывести войско, потому что реки еще под льдом и неприятель осилит конницею; также надобно будет пожертвовать артиллериею и саксонскими войсками, которые уже в походе, и потому он, Огильви, решился остаться в Гродно до лета и ожидать или большего удаления неприятельского, или прибытия саксонских войск. Огильви в своем письме не пощадил Меншикова. «Не знаю, – писал он, – как могут оправдаться пред вашим величеством и пред честными людьми те, которые меня здесь покинули без денег, без магазинов, без артиллерийских и полковых лошадей, замутили всем войском и, как скоро неприятель пришел, убежали, не сказав мне ни слова». Огильви жаловался на дурное состояние войска, на непослушание князей Репнина и Ромодановского, на распоряжения Меншикова помимо его, фельдмаршала.

Письмо не могло понравиться, а тут еще были получены письма Репнина к Меншикову, где говорилось, что фельдмаршал доносит несправедливо о состоянии войска, что Огильви в постоянной переписке с королем Августом, но, о чем идет у них дело, никто не знает, что носится слух о походе из Гродно к Варшаве. Петр отвечал Репнину: «Как слышим, что иттить к Варшаве – весьма не надобно, и отнюдь того не делать; тако ж ежели о саксонцах такой подлинной ведомости не получите (при принятии сего письма), что оные конечно Вислу перешли и идут к вам, а неприятель от вас тем часом ежели отдалится так, что вам возможно будет без всякого труда отойти, тогда, для бога, не мешкав, подите к рубежам, куда удобнее; тако же буде недалеко ушли те четыре полка, которые с королем пошли, взять с собою же, буде возможно; артиллерию, тяжелые пушки, ежели везть невозможно, то, разорвав, бросить в воду. Буде же о саксонцах получите подлинную ведомость, а провианта можете доставать и надеетесь, что до весны или приближения саксонского станет оно, то будьте в Гродне. О! зело нам печально, что мы не могли к вам доехать, и в какой мысли ныне мы есть, то богу одному известно». То же самое написал Петр и Огильви; начало письма замечательно: «Мы с немалою прискорбностию от вас письма выразумели, в которых такие необъятые тягости наваливаете, сами ж единою бумагою и пером щититесь и во всем нас, виновных, творите, что мы не по вашей воле чинили, и не тоию настоящее, но прошедшее паки повторяете и вместо веселости тугу прилагаете: однако ж, все сие презирая, прошу, чтоб вы по сему учинили, за которое я вам буду надмеру благодарен и, когда прибуду к вам, так учиню, что вы никогда жаловаться не будете». Тогда же Петр написал Августу: «Ни о чем ином, тоию о сем просим, дабы ваше величество не изволили наших в сем опасном случае оставить, но ак скорее с войском приблизиться, паче же провиантом как возможно скорее удовлетворить, что вашему величеству не трудно учинить, будучи ныне свободной стороны, где неприятель прешкодить (нанести вреда) не может. Ежели при сем малом провианте какое зло сему нашему главному войску случится, то уже нечего вашему величеству с нашей стороны уповать». Август оправдывался, что выехал из Гродно для того, чтоб придвинуть войско свое к этому городу, и выехал уже тогда, когда неприятель отступил. Петр отвечал: «За сие благодарствуем, однако ж не без сомнения, дондеже делом сие исполнится». Август представлял, что нельзя этою зимою опасаться вторжения неприятеля в Московское государство, и просил поспешить присылкою субсидий, без которых ему ничего нельзя будет сделать. Петр отвечал: «Про неприятеля подлинно ведать невозможно, но то ведомо, что уже он наших отрезал от наших границ. Ожидаем со стороны его величества о войсках подлинного слышать о сикурсе нашем, в чем его величество или вечно разорит, или обяжет нас».

Чтоб дать гродненскому войску *сикурс* повернее саксонского, Петр велел гетману Мазепе двинуться из Воьлини к Минску и писал к Репнину 17 февраля: «Гетман в скорых числах будет к Минску; станем мы также в три или четыре дни в Минске; Козаков несколько тысяч уже в Бресте, и для того зело потребно, чтоб провиант из Бреста чрез Козаков привезть к вам, для чего пошлите и от себя и о сем, для бога, трудитесь, и если возможете до половины марта

провианта, то лучше вам быть у Гродни; ибо мы, с помощью божиею, надеемся, вскоре случась с гетманом, вам добрый ответ дать. С восемь тысяч имеем старых солдат, кроме рекрут, а с рекрутами более пятнадцати, кроме курляндских». К Огильви написал: «Слышим о великой скудости у вас провианта; гетманские козаки уже давно в Бресте, и для чего оттоль не велите провианта привезть, не знаю. Для самого бога сие как наискорее учините, чтоб людей в довольстве содержать, которое паче многих добрых дел вам почтено будет, и я зело буду за оное благодарить вам».

«Рубежи наши зело голы, а наипаче всего конницею», – писал Петр Апраксину и потому велел от Смоленска до Пскова везде, где леса есть, зарубить рядом на 300 шагов широтою; ежели в котором месте валом легче, нежели лесом, тут не рубить, а делать вал по первой ростали. Эту линию весть, не смотря, чья земля, наша или литовская, только смотреть, где скорее, удобнее и легче можно сделать. Где воды глубокие или болота непроходимые, тут, для скоростей, не делать засеки. Делать это поголовно, с великою поспешностию, ближайшими уездами, русскими и польскими.

Среди этих распоряжений настигла страшная весть, что на саксонский сикурс не может быть никакой надежды; в начале февраля при Фрауштадте саксонское двадцатитысячное войско под начальством Шуленбурга было разбито в прах шведским генералом Реншельдом, у которого было не более 12.000 войска; большая часть русского вспомогательного отряда, находившегося у Шуленбурга, была варварски истреблена шведами, не хотевшими щадить и сдававшихся. Это изумительное при такой разнице в числе людей поражение Петр сначала приписал измене, зная, как саксонцы недовольны войною короля своего с шведами, и в этом смысле писал Головину 26 февраля: «Ныне уже явна измена и робость саксонская, так что конница, ни единого залпу не дав, побежала, пехота, более половины киня ружья, отдалась, и только наших одних оставили, которых не чаю половины в живых: бог весть какую нам печаль сия ведомость принесла, и только дачею денег беду себе купили. Сим же случаем и измена Паткулева будет явна, ибо совершенно чаю, того для он взят, чтоб сей их изменной факции никто не сведал. При сем прошу вас, чтоб вы в добром числе рекрутов москвичей (а паче конных, хотя б и еще из людей боярских по небольшому положить) и в прочем трудились. Мы меж тем будем стараться о выручке своих гродненских (которые, слава богу, еще в довольстве обретаются), и уже полки отсель пошли к Минску, куда и мы завтра поедем и там случимся с гетманом Мазепою».

Петр поехал в Минск, отправивши в Гродно следующее приказание: «По несчастливой баталии саксонской уже там делать нечего, но дабы немедленно выходили из Гродни и шли, по которой дороге способнее и где ближе леса, а буде вскрыется Неман, то лучше, перешед Неман, идти на левую руку, потому что неприятель чрез реку не может так вредить, тако ж по той дороге гетман и иные наши войска с ним; однако ж полагается то на их волю, куда удобнее, а по которой дороге пойдут, о том нам прежде походу для ведома наскоро писать, дабы можно было нам с конницею их встретить, и, как возможно, курьеров нанимать, на что не жалеть денег. Брать с собою что возможно полковых пушек и другое что нужное (в чем зело смотреть, чтоб не отяготиться, взять зело мало, а по нужде хотя и все бросить), а достальное, а именно артиллерию тяжелую и прочее, чего увезти будет невозможно, бросить в воду и ни на что не смотреть, только как возможно стараться, как бы людей спасти. Отошед из Гродни миль 10 или как случится, когда крепкие места, а именно леса, начнутся, разделить всю армию баталионами или полками, как лучше по рассмотрению, и поход учредить разными дорогами, по которым разверстать все войско, чтоб шло врознь, а не всем корпусом, дабы неприятель всею силою на весь корпус не напал, где может свободно выиграть, нежели потерять. А когда войско наше в рознице будет, тогда невозможно будет неприятелю всю армию атаковать, разве только на один баталион или полк нападет, который хотя и разорят, в том буди воля божия, однако ж не все в атаке будут, а волооких партий опасаться нечего, хотя и сильные будут, только можно верить, что на наш на один баталион смело не нападут. Прежде выхода из Гродни все (кроме

пушек и пороху), яко суть ножи и прочая, зело тайно пометать в воду. Сей выход из Гродни зело надлежит тайно сделать таким образом: перво поставить такой крепкий караул, чтоб из жителей никто не точию выйти, ниже выполсть не мог, и в то время как возможно скоро и тайно собраться, пушки изготовить те, кои к походу, а прочие держать на их местах (того для ежели неприятель сведает, от чего боже сохрани, и придет, а пушки прежде выходу брошены будут, то тотчас штормовать будет, и вам борониться будет нечем); потом, когда идти, взять вдруг всем пушки солдатам с траншаменты и вдруг, сведчи с горы, бросить в воду (для чего проруби надлежит заранее изготовить) и потом тотчас идти. Сей поход надлежит учинить с вечера и не поздно, чтоб ночью осталось больше времени, в котором бы далее можно идти до крепких мест, и зело в том тщиться, чтоб полистые места (поля) перейти ночью. Лошадей из Гродни тутошних жителей, кто они ни есть; тако ж еже и скудость провианта из монастырей и домов, и тако ж в чем нужда есть, взять нужное без крайнего разорения, а лошадей всех. При выходе надлежит конницу позади оставить, чтоб в траншаменте и у мосту была до утрае (дабы неприятель не мог пометать выходу) или и больше, по делу смотря; о полонениках полагается на рассуждение и совет воинской. Все чинить по сему предложению, и паче по своему рассмотрению, и не смотреть ни на что, ни на лишение артиллерии, ни остаточного не жалеть, токмо людей по возможности спасать».

Вслед за этим наказом Петр еще несколько раз писал Огильви и Репнину, чтоб непременно выходили из Гродно. «Ныне уже ни единый вид обретається, – писал он к Репнину, – чтоб вам быть в Гродне, ибо пред тем надежда была на саксонцев, ныне же хотя б и пришли, то паки побегут и вас одних оставят: того для ни о чем, только о способном и скором выходе думайте, несмотря на артиллерию и прочие тягости, как я вам пред сим пространнее писал. О выходе совет мой сей (однако ж и вашей воли не снимаю, где лучше): изготовя мост чрез Немон, и кой час Немон вскроется, перешед при пловущем льду (для которого льда не может неприятель мосту навесьть и перейти Немон), и иттить по той стороне Немона на Слуцк (которая добрая фортеция, и в нем добрая артиллерия и наш гварнизон и магазейн); однако ж надлежит при первом взломании льду поход учинить, прежде нежели малые речки пройдут, когда уже невозможно будет иттить. Мы у вас в левой руке от неприятеля будем, при нас войск регулярных с 12.000 человек, которых половина на лошадях, а у других у двух сани, кроме гетманских нестройных обретається; иного пути не знаю, ибо везде неприятель передовыми занять и сам отрезать может, о чем прошу скорого ответа: куды пойдете, чтоб нам ведать и вам дать с своей стороны отдух. Ныне получили мы ведомость, что по приходе шведов в Вильню уже добрую партию отрядили к Полоцку; о чем паки подтверждаю; конечно (при взломании льда, а буде сыщете способ, то лучше б и прежде) по сему учините без всякой отговорки и описки».

Но Огильви был другого мнения; на указы Петра он отвечал, что хочет еще подержаться в Гродно до более благоприятного времени; если выйти теперь, то король шведский может в 24 часа стянуть все свое войско и погнать русские полки; если покинуть Гродно, то вся Польша и Литва склонятся на сторону шведов, и вся тяжесть войны обрушится на Россию; лучше б простоять целое лето в Гродно.

«Что до лета хотите быть, и о сем не только то чинить, но ниже думать, – отвечал Петр 12 марта, – понеже неприятель, тогда отдохнув и получа корм под ноги, не отойдет от вас легко, к тому ж и Реншильд придет (понеже саксонцы паки скоро не сберутся), к тому же и Левенгаупт будет, ибо мы уже указ послали, чтоб курляндские замки подорвать и идти пехоте чрез Двину к Полоцку, потому что ежели до тех пор стоять, как Двина разойдется, то им пропасть будет, а конницею станем чинить неприятелю диверсию. О отдалении неприятеля не надобно думать, ибо для того весь поход его был и ныне стал в тех местах, чтоб нам что ни есть сделать, от чего боже сохрани, а смотреть, чтоб не отрезал, и то можно учинить, когда пойдете или на Брест, или меж Бреста и Пинска, и как можно скоро сперва пойтить, чтоб зайтить за реку Припеть, которая зело есть болотистая, и там можно по воле к Киеву или к Чернигову иттить: и так

неприятелю никоим образом отрезать будет невозможно, а сзади хотя и станет гнать, то не может вас догнать, ибо с пехотою невозможно, а с конницею не будет вам силен; к тому же надлежит не одною дорогою идтить, то не будет ведать, куды сколько пошло, и не может разделиться неприятель. Сие же писание оканчиваю тем, что первого разлития вод (или и ныне буде возможно) конечно не пропускайте, но с божиею помощиею выходите, чем нас зело обяжете и удовольствуете; противное же, ежели по сему не учините и до травы стоять станете, то уже сие дело не за доброго слугу, но за неприятеля почтено будет».

Пославши это решительное приказание Огильви, на другой день, 13 марта, Петр сдал начальство над войском Меншикову, на которого совершенно полагался, и отправился в Петербург в самом печальном расположении духа. Семь дней тому назад он писал Апраксину: «О здешнем писать, после баталии саксонских бездельников, нечего; только мы с приближающимся Лазарем (днем Лазарева воскресенья) купно в адской сей горести живы, дай боже воскреснуть с ним». Остановившись на несколько дней в Нарве, царь писал Меншикову: «Пути моего было, кроме простоя, пять дней и несколько часов, где, слава богу, все добро, и от сего дня в 6 или 7 дне поеду в Питербурх. Но токмо еще души наши на мытарствах задерживаются, о чем сам можешь рассудить. Боже, даруй воскресением своим радость!» Из Петербурга 7 апреля писал к тому же Меншикову: «Я не могу оставить, отсель не писать к вам из здешнего парадиза, где, при помоществовании вышнего, все изрядно; истинно, что в раю здесь живем; точию едино мнение никогда нас оставляет, о чем сам можешь ведать, в чем возлагаем не на человечью, но на божю волю и милость».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.